



**Глагол судьбы
и торжества**



**Вдохновенные
хлопоты**



**Ещё не мудр,
уже не горд**



**Магия. Одна
из её сторон**



**Незримое
присутствие**



**И полон
детских игр**



**Рубцы, как
фрески**



**Тысячелетнее
лето**



**Размышляйте
после**



**Что будем
шить?**



**Верблюды
идут на север**



**My Cat
Is Dead**

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

<http://sp-issues.narod.ru>



№1(3)'01

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

ISBN 5-94128-028-7

п е р и о д и ч е с к о е и з д а н и е

**Харьков • ОП
Тверь • Колонна**

8

АКТ ТРЕТИЙ

ОПУБЛИКОВАТЬ И ОПУБЛИКОВАТЬСЯ — СТОЛЬ ЖЕ НЕСОЧЕТАЕМЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, КАК
ИЗБИТЬ И БЫТЬ ИЗБИТЫМ. ДЕЛО НЕ В ЭДИПЕ: ФРАЗА «...Л Я ВАШУ ЛИТЕРАТУРУ»
В ДАННОМ СЛУЧАЕ БУКВАЛЬНА. НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ И МУЖЕМ, И ЛЮБОВНИКОМ
ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ; ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА У НЕЁ ЕСТЬ УЖЕ И МУЖ, И ЛЮБОВНИК. МЫ —
О ПЕРЕЖИВАНИЯХ (?)

НО — НЕТ ПОЗОРА, НЕТ. ЛИШЬ ОСАДОК. В СЕБЕ. О СЕБЕ. ОСОБЕННЫЙ. Я —
ОБ ОСОБЕННОМ. ВЕДЬ ВСЁ ХОРОШО, ПРАВДА? ВЕДЬ ВСЁ ХОРОШО? ОТЧЕГО Ж...
СТЫДНО, ЧТО ЛИ?..

ЛЮБАЯ РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ — СУЕТНЯ ПОСТЕЛЯЮЩЕГО СОЛОМКУ. НО МОЖНО
ВЕДЬ И НЕ ПАДАТЬ. ЕСТЬ ЕЩЁ ВАРИАНТ — СЕЗОННЫЙ: В МАЙСКОМ НОМЕРЕ,
ВЫПУСКАЕМОМ В СЕНТЯБРЕ, РАССКАЗАТЬ ВСЕМ
О МАЕ. ИЛЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ХОРОШИХ АВТОРОВ И ПОПРОСИТЬ: ПОЧИТАЙТЕ. ИЛЬ
РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ, ХОРОШИХ. ИЛЬ О ПОЛИТИКЕ (ХОР.). ИЛЬ НЕ РАССКАЗЫВАТЬ НИ
ОБ АВТОРАХ, НИ О СЕБЕ, НИ О ПОЛИТИКЕ.

...СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ, КОЕЙ НЕТ. ТО ЕСТЬ ЕСТЬ, РАЗУМЕЕТСЯ. ТО ЕСТЬ НЕТ. ТО ЕСТЬ,
А ТО — НЕТ. НЕ СКРОМНОСТЬ (УВЫ...), НЕ РОЗЫГРЫШ (ЖАЛЫ!).

ВЕРОЯТНО, НАИДУШЕВНЕЙШИЕ ИЗ СТРИПТИЗЁРОВ — ЭКСГИБИЦИОНИСТЫ.
ПРЕОДОЛЕВШИЕ СТЫД. НЕ ЗА КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ — РАНЬШЕ: ЗА УРОВЕНЬ
ПРИТЯЗАНИЙ. (ПОЗЖЕ: УДОВЛЕТВОРИВШИСЬ, НЕ ЗАБЫТЬ БЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ...
НЕ ПОТЕРЬЯ СТЫДА, ДА.)

МЫ — О ПЕРЕЖИВАНИЯХ (?)
(А О ЛИТ-РЕ — В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.)



Фидий в Парфеноне

Сергей Петрович ЧЕРНЯЕВ
родился в 1970 в Харькове.
Окончил филологический
факультет ХГУ в 1993, в 1996 —
аспирантуру, защитив
кандидатскую диссертацию
«Идеи дзэн-буддизма
в творчестве
Дж. Д. Сэлинджера». Кандидат
философских наук. Доцент
кафедры социально-
экономических и
гуманитарных дисциплин
военного университета
внутренних войск МВД
Украины.
Член Союза писателей Украины
с 1997. Автор поэтического
сборника «Терези тиші» (1996),
самиздатовских книг «Корни
радуги», «Сны царя Мавсола»
(обе — 1999), «Изгой»,
«Монологи с музой» (обе —
2000), «Зверинец Эрота»
(2001).
Пишет стихи на украинском,
русском, английском языках.
Русские стихи публиковались в
харьковской периодике,
альманахе «Collegium» (Киев),
в переводах — в журналах
«Березіль» (Харьков),
«Artecultura» (Милан).



**Фидий
в Парфеноне**

Б. Лившицу

Резец касается чела
И плоть мерцанием нефрита
Персты влечёт от ремесла
Где Божий пламень и зола
Как дух и тело неофита
Противоборствуют открыто —
К запретной глуби мастерства
Где оживают камня грани
Как лёгкие копыта лани
Как чудо-вепря голова
И ум в провидческом тумане
Твердит нелепые слова
Ни клятвы ни молитвы — хуже
Глагол судьбы и торжества
А гений путь найдя наружу —
В наш грешный мир — уже готов
Заслыщав муз шаги и пенье
На богоординное творенье
Излить души своё кипенье
И возложить венок цветов
Но жребий тем и тяготит
Что знак последний нам неведом
Спешим за вдохновеньем следом
Не зная снова ль посетит
Наш дух престанный аппетит
Ведущий к пагубным победам
Богов не превзойти в борьбе
За тайный трепет совершенства
Их произвол и верховенство
Угодны миру и судьбе
Однако высшее блаженство —
Их скорбный дар открыть в себе

[2000]

 **Мы едем
на море**

 **Всех нас
ждут
забытые
могилки**

 **Как я
привёл
девушек**

 **«сегодня
видел...»**

Юрий ЦАПЛИН (1972, Харьков). Проза: «Новый мир», «В кругу времён», «Вавилон», «Окрестности», «Очень короткие тексты», «©П», «Наш», книга «Маленький счастливый вечер». Стихи: «Точка опоры», «Паноптикум», «Время Ч». Сетевые публикации прозы, стихов, переводов в журналах «TextOnly», «Лимб», «Литературный арьергард», «Византийский ангел», «Литературный дневник», «Молодая русская литература» и проч.

Мы едем на море

1. ЯППИ



**Между прочим,
точное название
журнала —
«Пробудитесь!».
Коли и вправду
регулярно
заворачивал в него
завтраки, мог бы
уж и запомнить...
Тоже мне,
магический
реалист... Хех... :)**



**Интересно, кто
на это должен
ответить:
реальный автор?..
имплицитный?..
эксплицитный?..
нarrатор?..
ауктор?.. Кто
заворачивает
рассказчику
завтраки
в дебильно
улыбающиеся рожи
пробудистов?**



**Они свою
образованность
хочут показать.**

— ...После этого, Мария Трофимовна, вы переходите на рабочий диск, выбираете вот эту иконку и перетаскиваете на неё свои файлы. Только дополнительные пэйдж-брэйки в конфигурации надо запретить.

— Хорошо, Саша.

— Мария Тимофеевна, и откорректированный-как-мы-договорились перечень мне тоже распечатайте.

— Конечно. А ничего, если я сделаю завтра?

— Хм, завтра? — говорю я, и гляжу на часы. Ого, уже семь! — Мария Трифоновна, да ведь почти всё готово... Давайте закончим.

К тому же завтра — заново объяснять.

Это соображение окончательно утверждает меня в собственной правоте, и я перехожу к ежевечерним процедурам. Машина сорок минут жужжит лентой, сохраняя результаты дневной работы, а системный администратор (он же — исполняющий обязанности начальника технического отдела, и всё это — я) строит планы на вечер и мусолит малоизначительные воспоминания.

Сегодня утром я встретил Костика, он тоже пилил на службу. Мы чинно поговорили о курсе доллара и о модной шинной спецификации. Нас таких идиотов на длинной утренней улице было пар тринадцать: задроченные бытом яппи, мы шли в свои банки и офисы. В костюмах и галстуках посреди этого дешёвого города — похожие на проповедников по найму. Коммивояжёры Бога с цветных постеров журнала «Пробудись!».

Улыбчивые люди приносят мне этот журнал каждую субботу, и всю неделю я заворачиваю в него свои завтраки. У меня есть любимая фраза из одной их научно-популярной статьи: «Иегова Бог устроил мир так, что точка замерзания воды приходится на ноль градусов Цельсия».

Кроме того, хоть об этом не пишут в «Пробудись!», Иегова Бог устроил, что речка Лопань протекает прямо под общежитием нашего института. Подрастающее поколение профессионалов бросает в эту реку пищевую жесть и пакеты с мусором. Не знаю, зачем я здесь это рассказал. Однажды, под выселение, мои друзья выкинули туда же телевизор. С восьмого этажа, на удлинителе, и, говорят, некоторое время в полете он продолжал показывать. Говорят, это было сюрреалистично. Что касается подрастающего поколения профессионалов, то вспоминаю, один наш преподаватель успокаивал: «Не бойтесь, что молодые будут знать больше вас. К тому времени, когда они придут на работу, вы должны стать начальниками». Я стал — и теперь с ужасом жду прихода этих ублюдков. Радуюсь, что приходится делать всё самому.

Минут двадцать ещё сидеть. Нет, минут двадцать пять.

Вадик всегда снимает трубку после пятого гудка. После пятого гудка двери восприятия отворились и я сказал:

— Ну что, идеолог? Выкристаллизовал свои придумки?

— Чего? — спросила трубка.

— Снёс яички, говорю?

— Ага... — сказала трубка голосом Вадика. — В рожу хочешь?

— Ты, это, чайничек-то поставь, — сказал я. Двери восприятия взмущённо захлопнулись.

2. АВТОБУС

Путь к дому Вадика никогда не занимал у меня много времени, за исключением двух случаев. Случай первый: я шёл к Вадику, сильно задумался, а перепутавшие ноги повернули с приятной дороги на привычную — таким образом я оказался на автобусной остановке. Продолжая быть сильно задумавшись, я довольно долго ждал автобуса и довольно обрадовался, когда остановился какой-то левый*. Я сел.

Автобус не отъехал сразу — а продолжал стоять с открытой передней дверью. Что, опять-таки, для служебного автобуса было нормально. Народ трепался, а я сидел тихонько сзади. К этому моменту я окончательно забыл про Вадика и считал, что еду в институт поговорить с завкафедрой насчёт возможной аспирантуры. Мне, в общем-то, хотелось, чтобы автобус уже отчалил, но, с другой стороны, конкретной договорённости не было, и я мог прибыть на кафедру когда угодно. Было немножко неприятно, что я, по-видимому, слегка накололся с этим автобусом, потому что наверняка за это время, пока он стоял, к остановке подходили рейсовые, на которых я мог бы уехать. Но, с другой стороны, я занял сидячее место — а там бы, в лучшем случае, трепыхался, сдавливаемый, на ступеньках задней площадки.

Из разговоров я понял, что заводчане едут на медосмотр, каковое обстоятельство успело меня встревожить лишь слегка — тем, что плавновых остановок не будет и мне придётся просить свою, — тут-то в автобус взобрались одна за другой две одинаковые тётки, и он закрылся и завёлся. Развернулся и поехал в совершенно перпендикулярном направлении. Люди знающие поймут, что совершенно невозможно было броситься и убеждать водителя остановить и выпустить — вообще, меня, видимо, считали здесь за своего, просто молодого-зелёного и новенького, и из другого цеха. Единственный левый пассажир в салоне — почему-то только я один с остановки купился на этот автобус.

Мы славно проехали центр города, и продолжали пересекать на запад. Стоял красивый зимний день и всё такое. Наконец, автобус въехал во двор какой-то хитро спрятанной ведомственной поликлиники: мне, тихонько вышедшему в строю этих хороших, наверное, дай им Бог здоровья, людей, удалось почти незамеченным отхилить за ёлочку и, таким образом, увильнуть в этот раз от всеобщей диспансеризации.

О том, что изначально я шёл к Вадику, я вспомнил через три дня, то есть сейчас. Копирование успешно завершилось, я вытащил ленту, отнес её в сейф, запер, на обратном пути повыключал технику, усёлся, позвонил Вадику и спросил:

— Ну что, чайник выкипел?

— Какой, к матери, чайник? — спросил Вадик. Он был явно не в духе.

— Ну, помнишь, я должен был к тебе зайти?

— Тоже мне, почётный посетитель. Не зашёл и ладно. Ты же знаешь, чай у меня не застаивается.

— А кто у тебя? Наши?

— Сидят, гоблы, — неопределённо ответил Вадик и, насколько я его знаю, пнул с этими словами кого-то из гостей.

— Так я это... — предположил я, но Вадик перебил меня и сказал:

— Не. Завтра экзамен. Через полчаса всех выгоняю. Вот Андрей и Ветал собрались на речку, пойдёшь с ними?

— Святое дело, — сказал я. — Передай, через полчаса возле метро я их жду.

— Как работа? — спросил Вадик.

*
для не-жителей
Харькова: так в
моём городе
называют автобусы
со стороны — не
маршрутные, но
едущие по
маршруту, потому
что водитель не
дурак
подкальвить.
Толкуя шире,
«левый» — это
посторонний,
блатной, не тот, не
годящийся,
неподходящий. Раз
уж меня занесло в
примечание,
расскажу
туапсинскую
историю. Мы едем
из Ольгинки в
Туапсе в таком вот
(а на деле,
совершенно
другом, конечно)
«постороннем
автобусе». На
очередной
остановке входят и
подсаживаются к
нам нехарьковские
девушки
(москвички,
должно быть), —
интересуются,
почём билеты. «Да
это левый», —
следует небрежный
ответ, повергающий
девушек не то что в
абсолютное
недоумение, но
даже в некоторый
испуг... И хотя оный
испуг стоило >>

**Мы едем
на море**

>> немалого труда
развеять,
патриотическим
этим
происшествием я
очень горжусь.

— Нормально. Спасибо.
— Ну, я пошёл.
— Нет, это я пошёл, — сказал я, кивая уходящей Марии Трофимовне. — А ты, студент, сиди.

3. ЕЩЁ АВТОБУС

Вместо второго случая, как я долго шёл к Вадику, я лучше расскажу два про Ветала, потому что они тоже автобусные и хорошо коррелируют с тем, что я уже написал. А впрочем, случаи ерундовые и нужны мне для затравки.

Веталу надо было на Залютино, а он сел не на тот автобус. Дело происходит зимой. Автобус едет, Ветал выглядывает в окно и видит всякие сосны и просторы, беспокоится. Остановок долго нет, а когда есть, обеспокоенный Ветал аж высакивает. Место, куда он приехал и где уже сгостились сумерки, называется Солоницевка. Перейдя заносимую снегом дорогу, Ветал ищет остановку автобуса назад. Он находит павильон из жердей, без крыши. Шастают какие-то люди, вроде бы ждут, уходят опять, очень темно и уже за девять. Из разговора очередных пришедших Ветал слышит, что они едут «в Харьков»...

До сих самых пор Ветал считал, что он хоть и не там, куда собирается, но где-то рядом; и уж никак он не мог предположить, что окажется за городом — в начале-то ночи, в двадцатиградусный крепчающий мороз, в холодной куртке!

Вообразите же всю остроту охватывающего Ветала херового предчувствия, когда вскоре он остаётся на остановке один и понимает, что люди, отчаявшись дождаться автобуса, просто разошлись по домам — и что ему здесь расходиться некуда. Ветал сгребает в кучу остатки внутреннего тепла, пересчитывает наличность и, поправляя шарф газетной толщины, выходит из павильона на обочину. Вечер, снегопад, хреновая дорога.

Когда Ветала довезли до мест городских и знакомых, там царила безнадёжная ночь. Что значит, было уже полпервого и метро закрыли. Ветал вновь пересчитал наличность, отвернул уши у норковой шапки, снял шарф и обмотался под курткой в пахах. Ему предстояло пешее путешествие, подобное которому мы с ним уже однажды предпринимали — но то была весна, день и «Кока-кола» в торговых палатках. Мы были оснащены фотоаппаратами, любили всё, что видели, и называлось это «городской туризм». Теперь же Ветал не мог ничего такого видеть, потому что была ночь. Он просто пересекал город с запада на север, сморкался в обледеневший платок и, пользуясь одиночеством, пел довольно громко маршеобразные песни.

Чудесная повесть, придется на ней и закончить, потому что я уже на подступах. Я уже подхожу к метро и даже думаю, что вижу Ветала и Андрея. Да, это они. Мы здороваемся, а затем Андрей лезет в карман и ссыпает мне пригоршню тёплых семечек.

4. МИФОЛОГИЯ ОКРАИН

**Мы едем
на море**

008

— Лучше подкурить и умереть — чем умереть и не подкурить.
Сказал Андрей, и пошёл через кусты к чужому костру.

Там зашевелились навстречу. Лохматый дядька вставал к Андрею, Андрей, демонстрируя сигарету, шёл, а на нас с Веталом, остановив-

шихся за кустами, вдруг что-то надвинулось.

— Кто? — опасно спросил надвинувшийся. Недобро рассмотрел на-ши лица и отхлынул, полез в кусты за Андреем.

— Кто это был? — спросил я шёпотом.

— Гущин-младший, — тихо сказал Ветал. — Я его пять лет, как на районе не видел.

Ветал пять лет не видел Гущина-младшего; потом Гущин-младший вынырнул из темноты, чтобы понять, кто мы такие и надо ли нас бить, и исчез, и ещё пять лет, может статься, о нём не будет ни слуху, ни духу.

(Здесь по идеи напрашивается какой-то вывод — например, «такова жизнь», только я не уверен, что это то, что надо. Поэтому продолжим.)

Теперь сначала мы пошли по традиции поссать с обрыва.

Вы скажете, это глупо? А я скажу, что нет. Это круто.

Ссым мы не с любого обрыва, а со специального, ещё он называется Мыс Великого Кострильщика, но это, наверное, отдельная история.

Зимой мы любим ходить туда по льду, и вообще любим ходить и бегать по льду, а сейчас река отражает, размазывая, огни района.

Наши струйки падают далеко и шелестят почти неслышно. Вокруг ночь, вода и прозрачный глубокий воздух. Сзади лес, а впереди, в воде, огни, а за водой, за каналом, подымается берег, там дорога с редкими троллейбусами, каштаны, столбы, фонари, тротуар, газоны с полынью и кустами, и дома, чьи огни отражаются в канале.

Этот район называется Пески, потому что построен действительно на песках, намытых земснарядом при расширении водохранилища.

Сейчас, в общем-то, ещё не ночь, а вечер; полнее других светятся ряды кухонных окон. Погляди кто в окно, на фоне леса нас наверное не видно, только переблеск серебряных струек в лунном свете. У них там на кухнях жарко, шумно и хлопотно; здесь у нас тихо, спокойно и хорошо.

Вот я как-то писал , что Вики больше нет — а она есть, и родила ребёнка, и собирается разводиться с мужем. Вот её дом прямо перед нами — сразу за водой, дорогой, каштанами и газонами. Иногда, стоя на этом обрыве, мы говорим, что Вика могла бы нас видеть, или слышать, по крайней мере. Но сейчас мы пишем молча. Я думаю о Вике.

Вика — один из центральных персонажей нашей мифологии. Она живёт, почти позабыв о нас, и не знает, что для нашей компании её имя. А между тем она — отсутствующая музя нашего общества. Ещё более волнующая своим отсутствием. Примерно так я думаю, а потом мы по очереди вжикаем зипперами, и Андрей, который с Викой вообще знаком только по телефону, и то не очень успешно, Андрей говорит: «...»

5. ЛИФТ

В общем, говорит что-то, а Ветал ему что-то отвечает, и спрашивает в свою очередь у меня, а я молчу. На этом разговор заканчивается, мы приходим на пляж.

Ночью на городском пляже гребешки песка уже холодные и влажные; но если сдвинуть верхний слой, то под ним песок сухой, и сухие песчинки приятно щекочут пальцы. В остановившейся на ночь воде отражаются огни насосной станции.

Закрыв глаза, через некоторое время можно совершенно освоиться. Слабый писк летучих мышей и тихие переговоры отошедших к кустам мужиков. Вика.

Почему-то я продолжаю думать о ней, стоя здесь.



Где ударенье будем ставить?

Мы едем на море

009



Что такое любовь? Доводы и методы; опыт и ласковые слова; умиление, злость, встречи; длинная память. Поди ж ты, ничего этого у нас толком не было.

Мне хочется увидеть Вику.

Наполовину выпив принесённый баллон домашнего вина, мы прячем в куст ёмкость и покидаем пляж. Пересекаем два холма, перешеек, сосновый лес, хотя какой это лес, здесь днём трамвай ходит, и вот мы уже с другой стороны канала, под каштанами.

К Виже мы поднимаемся на грузовом лифте, и я, нервный как в кино, расхаживаю по кабине. Хотя я настроен на философский лад и знаю, что это всего лишь очередное прощание с молодостью, что-то во мне от этой предстоящей встречи дрожит и дёргается.

Дверь открывает Викина мама.

— Добрый вечер, Мария Трофимовна, — говорю я.

— Саша?

— Вы нас извините, — жмусь, — за позднее вторжение. Вика спит?

— Вика здесь уже не живёт, — говорит Мария Тимофеевна, и вздыхает. — Они к Тимуру переехали. Что же ты днём не спросил?

Ёлки-палки.

— Ничего. До завтра, — вежливо говорит Мария Трифоновна и улыбается ехидной Викиной улыбочкой. Уже точно за полночь.

6. ПЛЯЖ

Мы спускаемся пешком с тринадцатого этажа и бредём к воде.

— Это ужасно, — говорит Ветал. — Что, опять пойдём обходить этот вонючий канал? Давайте как мужики пересечём его вплавь!

— В натуре, — говорит Андрей и стягивает мастерку.

— А вещи? — спрашиваю я.

— В руках, — говорит Ветал.

— Знаете что, — говорю я раздевающимся юношам, — давайте всё мне, я иду в обход.

— Не сходи с ума, — говорит Ветал.

— Кончай гнить, — говорит Андрей. — Не ссы.

— Нет, правда.

Хрен с тобой, говорят мне и отдают шмотки. Не теряя времени, я отправляюсь в путь.

Вероятнее всего, нет поражений, нет побед, только белый шум бытия. Но мы будем считать, что есть поражения, и победы тоже есть. В таком случае, я несомненно потерпел поражение.

Вот только победила ли ты?

Ничего ведь в жизни на самом деле не сходится: диагноз с болезнью, проигрыш с выигрышем, переезд к мужу — с желанием развестись, да? Ничего не сходится, ладно, но всё вокруг красиво, то есть эстетично, то есть достойно, казалось бы, описания... — мало этого или не мало? Хоть что-то в мире имеет значение? Но по-настоящему вопрос не в этом.

Вопрос в том, плевать мне на это или не плевать.

Проходя мимо открытого канализационного люка, я испытываю тутое желание отправить туда все взятые на себя обязательства, а самому отправиться баиньки. Нет, ничего, до камышей-то я дойду. А вот уже лес, а вот два холма, раз-два, я на пляже.

Андрей и Ветал фыркают как лошади, трясут головами как собаки и, жаждя одеться, набрасываются на меня со словами приветствия.

На нашем месте сидят три пьяных индийских студента с пластико-

выми стаканчиками и бойко треплются на пиджин-инглиш. Зайдя братьям за спину, мы добываем и допиваем баллон, результатом чего в моём восприятии наступает какой-то провал: небо уже сразу серое, я сижу на сыром песке и наблюдаю канал. По утренней глади плывёт не-закрытая бутылка, тщась выглядеть лжесвидетельством пребывания разумной жизни на этой планете.

7. МОРЕ



Той жизни, о которой я понял три вещи:

1. Всё, что имеет значение, растворено в том, что значения не имеет.
2. Пустота способна заполнить собой всё.
3. В конечном счете человек стремится стать таким же индифферентным, как мир (что называется мудрость, буддизм и всё такое прочее).

Я сижу и думаю эти три мысли по кругу подряд. А потом мы идём и я хочу стать таким же индифферентным, как мир (что называется мудрость, буддизм и всё такое прочее), но всё-таки беспокоюсь, выходной сегодня или нет.

Когда я спросил об этом у Ветала, он засмеялся.

Я спросил у Андрея.

— Солнце светит во все щели, — сказал Андрей, приятно заморгав (как в кино, когда сеанс закончился и включили свет). Это мы долго шли по-над плотным забором, а теперь пошёл редкий. Чтобы сократить себе путь, мы выломали доску и пролезли в дыру, и там, освещаемые ярким девятичасовым солнцем, остановились.

— Ну и погодка! — сказал Андрей. — Мужики, мы едем на море.

[1996–1998]

**Мы едем
на море**

011



Всех нас ждут забытые могилки

Ориентирование на местности

Я бы тоже хотел что-нибудь написать о шестидесятниках, — а именно о шестидесятниках-поэтах. Начну, наверное, с полуутвлечённых соображений, — а после, под видом, что пытаюсь подкрепить их конкретной иллюстрацией, расскажу одну занятную историю, потому что «рассказ — это ведь всё-таки занятная история», как пишет во внутренней рецензии на мою предыдущую прозу Василий Омельченко, литературный консультант харьковской газеты «Золотая Струя». Сюжет, а не всякие там мысли, — их, вставленные по глупой инерции моего дебютантского мышления, я предлагаю вам просто пропустить.

На Руси пьянство не просто украшает человека, пишущего стихи, — оно есть залог и непременное условие серьёзного поэтического творчества. Общественность сочувственно и брезгливо прощает поэту многочисленные попытки завязать, прекратить, подшиться, — но стихотворец, действительно бросивший пить, в глазах собратьев и свиты немедленно и навсегда становится бессердечным подонком.

Пьют pragmatики, — поскольку у поэта непьющего ни попутчиков, ни приближённых быть не может. Пьют романтики, — ибо у романтиков ранимые души, ибо романтики всех несчастней, и вообще — такова природа поэзии. Пьют даже немногие талантливые американцы (амericанцы похожи на нас!) — например, Джеймс Дуглас Моррисон:

*Я проснулся утром
и сразу налил себе пива,*

потому что будущее — оно ещё неизвестно когда будет, а пиво у него, фактически, всегда под рукой. «Знай лишь вино цеди и пресекай долгой надежды нить», — говорит Гораций в переводе Фриды Иосифовны Луцкой, старейшего доцента Харьковского госуниверситета, и это — квинтэссенция доброй трети поэтических текстов (что бы вам ни твердили о интерференции смыслов, построчной оплате и прочей музыке сфер).

Вот и харьковский поэт Стас Шумицкий, которого я не знал лично, но знаю о котором благодаря состоявшемуся 18 марта 1997 года в харьковском Союзе писателей юбилейному вечеру, принципиально не появлялся на людях без «пляшечки» — милая подробность, не правда ли? Однажды Станислав подарил филологу Михайловскому трёхцветную шариковую ручку — вещь заграничную и по тем временам невиданную. Во всём СП таких ручек, по утверждению Шумицкого, было всего две, причем вторая (вернее, первая) — у будущего всесоюзного лауреата Леонида Брежнева (№1 в тогдашней партийно-хозяйственной мемуристике). Обрадованный и польщённый Михайловский наговорил Стасу комплиментов и побежал хвастаться подарком.

По случаю ручки в Союзе даже прекратился бильярд — все обступили счастливчика и наперебой просились, чем чёрт не шутит, что-нибудь написать. Михайловский сутенёрствовал: объяснял и показывал, бережно отдавал в руки и пристально следил за перемещениями.

Маленькая толпа литераторов возбуждённо выбрировала — эти возбуждённые вибрации распространялись и достигли, наконец, отдалённейших кабинетов. А в последнем по коридору — ещё не главном, но уже почти престижном — обитала в ту пору наша полузнаменитость N. Человек до самозабвения чуткий, N не мог не ощутить этих вибраций ли, флюидов — биофизики лучше знают, — и, виртуозно прервав разговор с красновельможным собеседником (которого

мы пока оставим в тени), на минуточку вышел.

Торя себе путь полулатланными и вполне циничными прибаутками, N пробрался к бильярдному столу и увидел ручку. Безделица сразу же, гипнотически приковала его внимание, — однако же волевой N нашёл в себе силы отвести глаза от никелевого блеска и окинуть быстрым взглядом круг собравшихся. Хозяина ручки N вычислил без труда; оставалось только обезопасить себя от возможных неприятностей.

— Новинка советской торговли? — встав чуть ли не за спиной у Михайловского, тихо и доверительно пошутил N. — Где дают?

— Шум подарил, — так же тихо, одному N, раскололся Михайловский.

Теперь можно было быть спокойным: мятущийся Стасик («парус на сушке», — написал он о себе в одном стихотворении), если и помнит ещё о подарке, то завтра забудет, а если не забудет — всё равно ничего не поймёт, а и поймёт — невелика птица, плевать! И с этими мыслями полузнаменитость N попросил:

— Слушай, старик! У меня там сидит — ну, сам знаешь, как это бывает — третий подсекретарь райкома (да нет, плохо же ты обо мне думаешь, конечно комсомола). Пробиваю коллективный сборник, то да сё, хочу произвести впечатление... Дай мне, пожалуйста, эту штуку — я ему книжку надпишу тремя цветами!

— А мне надпишешь? — не смея отказать недознаменитости, только и успел попросить Михайловский.

И конечно же, заразу третьего подсекретаря (которого нам пришла теперь пора достать из тени) не заинтересовали ни известная без малого книга, ни памятная трёхцветная надпись, — зато чрезвычайно восхитила злосчастная ручка.

— Старик, я жутко перед тобой виноват, конечно, — горячо шептал N поникушему филологу, — но коллективный сборник! Ведь ради общего дела! Да я, знаешь (говорю тебе по секрету, первому), — я должен вот поехать в Польшу на конгресс прогрессивных молодых писателей, — я тебе привезу точно такую же! Лучше привезу!

«Ах ты, скотина, — думал проницательный Михайловский, привычно пряча глаза. — Вот за что ты продал мою ручку, мой фантастический трёхцветничек — который один такой, второго, считай, что и нет, — вот за что, а никакой не коллективный сборник...» — так думал Михайловский, отворачиваясь и лелея замысел сегодня же вечером написать о сомнительной полузнаменитости что-нибудь филологически сверхъязвительное.

Но самое интересное и, по-видимому, не поддающееся теперь расследованию обстоятельство — это как удивительная ручка попала к Шумицкому. Спросить, к сожалению, некого. Да и не верится, что у Шумицкого нашлась бы на этот счёт какая-нибудь гипотеза — потому что, расставшись с филологом Михайловским (с которым и мы на страницах нашего рассказа почти расстаемся), он пошёл от нечего делать на работу, то есть в редакцию газеты «Вечерний Харьков». Совершенно случайно там его уже ждал, два часа томясь, некий курский приятель (выросший впоследствии в «поэта средней руки», по собственному определению, и даже издателя) — ему-то мы и обязаны второй частью нашей вряд ли поучительной истории.

Будучи по исконной натуре человеком простодушным, курский приятель не придавал большого значения тому, что мы сейчас назвали бы поэтическим имиджем, и поэтому пытался Шумицкого в свои приезды хоть как-то подкормить. Искушённый стихотворец Шумицкий подобные предложения отвергал с негодованием. Происходил примерно такой диалог:



**Всех нас
ждут
забытые
 mogilki**

013



**Всех нас
ждут
забытые
могилки**

014

— А у меня, Стасик, рубль есть. В столовку пойдём, борща возьмём...

— Дружэ! Т-так у меня к твоему рублю есть двадцать копеек: пошли лучше вдарим по чистым калориям!

— По чистым калориям — как это, Стасик?

— Ну, что там в том борще — ну тридцать, ну сорок этих самых... Это не продукт! В ста граммах настоящего продукта —

После чего приятели шли понятно куда, а не в столовую (благо и то, и другое можно было с лёгкостью найти в двух ступеньках-шагах от редакции).

По сходному сценарию события развивались и в тот день, за днём последовал вечер — таким образом, история появления ручки была потерянна для потомков навсегда.

А в рассказе, между тем, наступила тридцатилетней давности ласковая летняя ночь.

У курского приятеля в Харькове имелась тётя — к ней-то молодые люди и заявились, когда заявиться куда-нибудь пришла пора даже поэтам. После... — ну, назовём это ужином, — спать не хотелось. У открытого в старый харьковский дворик окна Шумицкий долго и расслабленно читал своё и чужое, а потом спросил товарища:

— Ты ведь стишкы пишешь?

— Пишу.

— Доставай, — разрешил Шумицкий.

— Да ладно, Стасик...

— Нет-нет, давай их сюда.

Приятель выудил из портфеля заветную папочку. «Стасик» перевоплотился: он закрыл окно, сел за стол и сосредоточенно прочёл подборку. Отобрав одно стихотворение — «Вербы», всего двенадцать строк — Шумицкий в полчаса перевёл его, как малое неразумное дитя за руку, на берег своей — украинской — поэзии: в чудесный сад, где ребёнок, родившийся в нищете, оказался долгожданным принцем, а скучные звуками строки бледнорусского оригинала пелись образом сколь непреложно единственным, столь и не вполне постижимым. Оба стихотворения — зачин и эхо — приятель Шумицкого читал на юбилейном вечере, и я готов свидетельствовать: произошёл случай в мировой поэтической истории не такой уж и частый — перевод вышел многократно сильней, важнее, богаче источника. (На ум, ни к селу ни к городу, приходит цитируемое Набоковым «плыла и пела, пела и плыла...» — но что Набоков харьковским шестидесятым?)

А надо сказать, что к описываемому 196- году Шумицкий бороздил рябь подцензурной словесности автором вот уже двух книг, — и с целью поощрить, писательское правление (в котором на тот момент получили временное преобладание временно прогрессивные силы) выдвинуло Стасика на республиканскую премию. Как раз тем самым утром, когда два поэта проснулись в душной комнате с закрытым окном, Шумицкому полагалось исполнить остроумный туземный обычай, — а именно посетить высокую инстанцию, без вразумляющего согласия которой премия состояться не могла.

Ещё было время позавтракать, и — то ли головы болели смертельно, то ли имидж подвёл, — но в райкоме комсомола Шумицкий появился слегка ...

Обыкновенно писателей пользовал (приходится доставать малосимпатичную марионетку вторично) известный нам подсекретарь №3. Оное должностное лицо и само порядком выпило накануне, — однако в порядке партийной дисциплины не опохмелилось, отчего взор был тяжёл, пуст (на сочетании настаиваю!) и мрачен. Должностная длань катала по

столу трёхцветную ручку, вместо того, чтобы делать ею соответствующие положению должностных ягодиц значительные записи. Должностные жвалы медленно выдвигались и задвигались; сквозь должностные связки с неравномерным шумом вырывался смрадный воздух, а должностным очам, казалось, не хватает сил ещё раз взглянуть на Шумицкого (впрочем, как и на что бы то ни было другое столь же малосущественное и неопределённое). В общем, встреча могла бы пройти удачно, не выползи под конец третий подсекретарь пожать гостю руку.

Стоило подсекретарю принюхаться и отличить чужеродные запахи от своих собственных, как в его номенклатурном мозгу всё сложилось в одну картину: и странная, непоэтическая живость Стасика, и почти развязные реплики, и некоторая статическая шаткость вкупе с явной моторной недокоординированностью... Секретарь всклокотал:

— Да вы что, товарищ Шумицкий, пьяны?

— Ну, как... — ответствовал уже достаточно расторможенный и быстрый на язык поэт, — ну не мог же я не отметить нашу встречу...

Уходя, Шумицкий оглянулся на секретаря, набрасывавшего в раздражённом вдохновении какой-то негодующий черновичок, и смутное чувство шевельнулось в сложной поутру душе поэта.

— Ска... скажите, пожалуйста, — спросил Шумицкий, сам не понимая, почему это его интересует, — а откуда у вас эта трёхцветная ручка?

— Эту ручку, товарищ Шумицкий, — добрасывая черновичок и с внезапной, не иначе как дьявольской лихостью отступив «Вы жертвою пали...» на обоюдосекретарской кнопочке, похвастался невыездному бедолаге третий подсекретарь, — мне подарил глава румынской делегации на съезде братской рабочей молодёжи в городе Бухарест.

И премии, конечно, не дали. А заканчивается история совсем грустно. Однажды вечером в 1987 году, со своей неизменной пляшечкой, Шумицкий шёл по улице: шёл, может быть, и не помня уже откуда, но зная, и знание это бережно храня, что идет домой. Пьяного, его остановили патрульные милиционеры, обыскали, забрали пляшечку и принялись слегка валтузить. Они бы повалтузили его слегка и отошли, но пьяница-старик стал ерепениться и громко кричать что-то про стыд и свободы, и про пляшечку, и тогда его избили зло и серьезно. А потом он умер.

Похороны были в Союзе писателей. Собрались все положительные герои этого рассказа: и филолог Михайловский, и курский приятель, и полузнаменитость N, которая при всех своих недостатках так и осталась нашей единственной и бессменной полузнаменитостью... Из милиции никто не пришёл. Писательские похороны — все на одно лицо: гроб на бильярдном столе; броуновские — словно пасущие перед подступившим хаосом — перемещения разнокалиберных литераторов; вдохновенные хлопоты ответственных лиц, то и дело выплескивающиеся через балкон в неприбранный вратный дворик... Выступали долго и недолго поплакали, погрузились и поехали на кладбище.

Прошли ещё десять лет.

На юбилейном вечере говорили, что поиски, конечно, организовать надо, и поиски организованы будут... Только вряд ли они будут организованы. Ибо как в литературе вечен сюжет, так в жизни — отсутствие сюжета: по всей видимости, могила Шумицкого потеряна для потомков безвозвратно.*

[1997, 2000]

*
Автор просит прощения у тех харьковских читателей, которые обнаружили в рассказе ряд исторических и житейских несоответствий. Видит Бог, перевыдумать действующим лицам имена или перенести действие в третью страну © было бы куда постыдней, чем пренебречь хроникой и фактологией ради решения художественной задачи (пусть и должно понятой).



**Почему «в третью»?
С первой — ясно, да вторая где?..**

Всех нас ждут забытые могилки

015



Как я привёл девушек

Мой дед лежит в больнице, а я еду к нему на работу за мясом (предновогодний профсоюзный паёк). А вот я уже вышел из метро и пару домов прохожу проспектом, топчу тонкий снег (старый, сбитый снег тротуаров покрыт тонким пушистым сегодняшним). Машины, шум — не нравится; сворачиваю на улицу поменьше и вижу трёх девушек. Идут, машут кульками и смеются.

Хорошие.

Девушки, говорю я, догнав, а, девушки.

Смотрят на меня: что, мол. А я, сбивчиво поначалу, а потом даже грациозно, приглашаю их встретить Новый год с нами.

Удивлены. Но, кажется, отнюдь не испуганы. А я продолжаю: расписываю им квартиру и родителей Вадика, предполагаемую программу развлечений. Стремлюсь заинтересовать. Вот Макс, говорю, у нас есть Макс: метр девяносто, сто десять («Сколько?» — ахают). Классно готовит. Девчонки, правда, будет лучше, чем в «Глории» какой-нибудь (дорогой ресторан). У него сестра — аспирант ХИОПа (Харьковский институт общественного питания). Она изобрела разноцветные вареники и шинкует капусту так, что мы все валяемся, — никому за ней не успеть.

Они, наивные, не верят. У них, де, мамы, у них, де, бабушки. Их, мол, учили, они, мол, сами. Ну и отлично, говорю я, мы от помощи и участия не отказываемся; например, за вами торт.

Как же так, да мы же ещё, говорят они, да ну что ты. Нет, я абсолютно серьёзно, честно, вы же по домам с родителями собирались сидеть, дело хорошее, конечно, но... Нет, нет, кричат, не с родителями, мы вот у Тани. Приятно познакомиться, Таня.

А вы на каком курсе, девушки? На первом и на втором. Ну, взрослые, значит, и самостоятельные, так что, решено? Да нет, ну что ты, ну как это, и мама, а что мама, а что ей сказать? Да ну, Таня, так и сказать, ничего не выдумывать. Да ты в своем уме, говорят они (это звучит так: «Саша, ты что, совсем поехал?»), ты что, с мамами никогда не разговаривал, почему это не разговаривал, очень даже разговаривал, говорю, я в этом считаюсь специалистом, хорошо, Саша, говорят мне. Пойдём.

Таня живёт на четвертом этаже старого дома. Квартира красивая и просторная. Мама приятная и молодая. Узнав в чём дело, она смеется и предлагает, молодой человек, поговорить наедине, на кухне. А кухня у них о-го-го. Мы живём в бывшей коммуналке, говорит Танина мама. А я рассматриваю и размышляю, что бывшая коммуналка — это на самом деле ещё более бывшая чья-то ведь опять-таки частная квартира. А то и весь дом. А размышляя так, я все убеждаю и убеждаю, рассказываю и рассказываю.

Вот Макс, говорю, у нас есть Макс. У него сестра аспирант.

Вот, говорю, Коля, вот, говорю, Вадик, и, пока разговор наедине, характеризую их парой метких сравнений.

— Вы что, не любите своих друзей? — удивляется Танина интеллигентная мама Любовь Михайловна.

Люблю, но не ослеплён любовью.

— Такой любви не бывает.

Не знаю, а дружба бывает, точно. Может быть, это чисто мужское?

Танина мама смеется. Нет, ну сам подумай, как я могу отпустить этот выводок к вам на Салтовку, господи, и район-то какой! да и вас я абсолютно не знаю, да не бывает так, какие нормальные родители..., я Вас прекрасно понимаю, говорю я. Но с другой стороны, ну как мне, абсолютно положительному молодому человеку, завоевать ваше доверие,

как мне вас убедить? А девочки ваши мне действительно очень понравились, и уверен, в глубине души вы и сами думаете, что общение с нами, такими вот современными, но интеллигентными, пошло бы им только на пользу, ну что ещё, ну созвонитесь с Вадика родителями, вот телефон, они же там, с нами, всю ночь будут. Это же не то что. Ну как мне доказать вам свою порядочность, ну давайте я с Вами о Пастернаке поговорю.

О Пастернаке, интересуется она, отчего же, с удовольствием.

Ну, я не очень большой знаток, но... может быть, это примитивно, но мне нравится «Ночь» позднего Пастернака — там, где лётчик становится крестиком на ткани и, может быть, не помню, наоборот; а ещё «синее оперенья селезня»... Но вот, прости, когда я читаю Введенского или Олейникова, меня не покидает ощущение, что Пастернак — просто кусок прошлогоднего цемента!

— Вы мне очень понравились, Саша, — говорит Любовь Михайловна, улыбаясь.

Мне страшно, что я вам так сразу понравился, говорю я, шнуруя ботинки. Существует, вы знаете, такой литературный штамп: человек, вызывающий доверие с первого взгляда, оказывается примерно к середине мерзким подлецом или, по крайней мере, безвольным мямлей.

— Вы слишком литературный мальчик, — говорит Любовь Михайловна, на что я отвечаю ей, что она слишком литературная мама.

А дедушка лежит в больнице.

А я иду к следующей маме и опять рассказываю, что вот Вадик, я не могу с уверенностью говорить о том, более или менее он талантлив, или достаточно ли он остроумен, но в том, что он доброжелателен и порядочен, я готов отдать на отсечение какую-нибудь менее нужную руку. А вот Коля — быстро пьянеющий, и у него-то развязности хватит на нас четверых, но я думаю, мы сможем ему противостоять; если захотим, конечно, — бросаю взгляд на девушек, а они уже такие мне родные.

А дедушка лежит в больнице.

А я дохожу до работы и забираю мясо, а Николай Акимович передаёт деду поздравления от всего отдела. Мой дед — молодец. Я и сам это знаю. Ему семьдесят, а он, если бы не болезнь, и не думал бы уходить, да ему и сейчас, когда он в перерыве между операциями лежал дома, звонили с заводов — а он всё знает на память, какой ротор где лежит, до сих пор консультирует всю область — бывший главный инженер треста, которому нынешний и в подметки... Эх, да что там. Мы столько жить не будем, разве что Макс.

Новый год мы встретили вчетвером. Всё хорошо было. Думаю, что и у тех девушек, которые мне так приглянулись, всё было хорошо. А я их и в лицо-то даже не видел. Когда сидели за столом, и часа в два нам всем как-то взгрустнулось, я вот думал: а что, если бы я действительно подошёл к ним, и позвал, и уговорил бы? Неужели не может быть, не бывает? Трудно сказать, — а я не тот человек, чтобы пробовать. А потом, в полтретьего, мы вышли на улицу, и Макс запустил шутиху, и она взлетела, и разбрзгала лучики искр во все стороны, и, затемнив все небо, быстро-быстро вращалась на его фоне, и упала на крышу мусорки, а искры прыгали по крыше и падали с шипением в снег и с капельным стуком — в пустые баки. А я пошел домой, все уже спали, а я тихонько сел на кухне и написал рассказ, и замечательно, что он всё-таки называется «КАК Я ПРИВЁЛ...», а не «КАК Я НЕ ПРИВЁЛ ДЕВУШЕК».

[1993, 1997]



**Как я
привёл
девушек**

017

•
Твой вариант?

•
А я — трёх.

•
А вчера?

•
А вчера я и сам
был хороший.

•••

сегодня видел двух хороших

[]



**Гамлет,
принц
датский**



Китайское



**S. Т.
(«Незакрытая
дверца
шкафа...»)**



**«Аве,
Проза...»**



**«Здесь
в Москве...»**

Борис Вячеславович ТКАЧЁВ
родился в 1968 в Харькове.
В 1990 окончил экономический
факультет Харьковского
госуниверситета, в 1995 —
аспирантуру того же
факультета. С 1998 — студент
Литературного института им.
Горького (Москва).
Публиковался в коллективном
сборнике «Паноптикум».
В настоящее время живёт
и работает в Киеве.



**Гамлет,
принц датский**

1.

Едва устанут реки
перемещать волну,
едва остынут веки
идущего ко дну,
и солнце запрокинет
свой воспалённый глаз,
и он, больной, остынет,
увидев, что погас;
и до начала ночи
останется ни дня,
и среди многих прочих —
ни одного меня, —
чужой невыносимо,
остановивший боль,
всяк проходящий мимо,
пинающий, — любой —
в скучое совершенство
священной пустоты
без голоса, без жеста —
отправишься и ты.

2.

Ты призван, но не узнан,
печальный бог войны,
владеющий искусством
разительным — вины.
Из этого же ряда
искусство палачей:
торжественность обряда —
сердец, голов, речей
моих, любви и славы
неназванных имён, —
привычен путь отравы
(не глуп и не умён)
туда, где полководец
повержен без труда,
где спит его народец,
похоже, навсегда...
Осыпались ресницы,
но жив ещё зрачок,
божественной десницы
гуляет кулачок.

[1999]



Китайское

Меня полюбишь за мои стихи.
Ну, а разлюбишь за мои поэмы,
которых нет. Как свежесть хризантемы
отсутствует в засушливой степи.

А значит, не разлюбишь никогда.
Беседуя на хорах Поднебесной
Империи, где так темно и тесно,
как моему ботинку от следа;

в чужой любви — как бабочки в уже —
все стадии свои переживавшей
неоднократно и пережевавшей
не одного любителя уже —

беседуя, в преддверии косьбы
на рисовых полях, залитых мёдом,
предпочитая дуть с чужим народом
в сандаловую дудочку судьбы,

где спинку изогнув, что венский стул,
о странностях Европы бродит память,
но некому её, увы, обрамить
в пределы узких глаз, широких скул, —

простим друг другу равенство полов,
основанное на единстве цели,
и разве мы не этого хотели
среди разбитых парков и голов?..

Коль человек не слаб, но обречён
на слушанья по делу и без дела,
несовершенство помыслов и тела,
он правит не молитвой, не мечом,
а разговором вечным
ни о чём.

[1998]



•••

S. T.

Незакрытая дверца шкафа, давящегося одеждой,
из застенков — галстука заведомая петля,
мне поведают утром о маленькой, но задержке
между прошлым и будущим, между мной и тобой, деля,

тиражируя формулу зимнего сна, лекала
недостроенных улиц по следу речной воды,
из которого грубая потная ночь лакала,
задыхаясь от ужаса первой своей звезды...

[1998]

•••

*Аве, Оза.
Ночь или жнивъё,
псы ли воют, слизывая слёзы,
слушаю дыхание твоё...*

A. Вознесенский



*Аве, Проза.
Аве, забытьё.
Главное, чтобы тебя любили.
Даже на окраине Сибири.
Даже за пределами её...*

*Аве, Сон, не помнящий имён
страхов, совершившихся событий.
Опыт завершён, и применён
результат. Запомните. Сотрите.
Помнить незачем.*

*Недолго, никогда —
островом, лишённым в перешейке —
сугти (обособленности).*

*Мзда
холода — издёрганный ищёйке
суток.*

Поделом.

*Проверка на
утреннюю свежесть — интроверта.
Вечная зависимость окна
от случайной перемены ветра.
К лучшему.
Ну, вот и я — не сам.
Встречным одиночеством достроен.
Боли — утомительны — глаза.
И затылок склонен. И не ровен
час, когда придёт...*

*Не день, не год,
кажется, положены на это.
Ты ещё не мудр, уже не горд.*

*Это значит:
наступило
лето.*

[1999]

023



• • •

Здесь в Москве,
здесь в моей голове:
тени и отголоски,
макароны по-флотски,
медленные полоски
чая на рукаве.

Здесь внутри,
здесь, куда ни смотри,
мест повторных,
улиц пустых просторных
спят валторны.
Но христофорны
пути зари.

Здесь везде,
здесь, где прибит к версте
километр; и воровка,
слов моих полукровка,
бродит где.

Здесь, почти
здесь... Подожди, прочти
знаки Торы:
книг моих кредиторы,
век которых
явится скоро —
чти*.

*(Здесь: любовь
чи, столкновенье лбов.
Сна опечатка:
солнцем полна сетчатка,
ранку прикрыла ватка
стихов.)

[1999]



**Площадка
молодняка**

Денис ХЕР-РУВИМ (1975,
Харьков). Публ. вперв.

Площадка молодняка

Предварительное название текста — «Площадка молодняка».

Фрагменты текста написаны независимо в разное время, объединены с минимальной обработкой и почти в случайной последовательности. Каждый персонаж имеет один или несколько реальных прототипов.

Большая часть ситуаций основана на реальных событиях. Многим не составит труда восстановить реальную основу, возможно, ту, о которой я сам никогда не имел ни малейшего понятия. На здоровье, ребята. Развлекайтесь.

Одно условие: пусть это останется вашим личным делом.

— Ты знаешь какие-нибудь сказки? — спросила Тельма.

— Я знаю историю про волка, — сказал Брюс.

— Про волка и бабушку?

— Нет. Про чёрно-белого волка, который жил на дереве и прыгал на фермерскую скотинку. Однажды фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыновей, и они встали вокруг дерева и принялись ждать, когда волк спрыгнет. Наконец волк спрыгнул на какую-то паршивую коричневую тварь, и тогда они все разом его пристрелили.

— Ну, — расстроилась Тельма, — это грустная история.

— Но шкуру сохранили, — продолжал Брюс. — Чёрно-белого волка освежевали и выставили его прекрасную шкуру на всеобщее обозрение, чтобы все могли подивиться, какой он был большой и сильный.

И последующие поколения много говорили о нём, слагали легенды о его величии и отваге и оплакивали его кончину.

— Зачем же тогда стрелять?

— У них не было другого выхода.

— Ты знаешь весёлые истории?

— Нет, — ответил Брюс. — Это единственная история, которую я знаю.

Филип К. Дик

Мы ничего не знаем. И у нас ничему не выходит научиться. Чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем. Не могу сказать, почему так. Просто так есть. Я это видел. И другие это видели. Мы живём, живём здесь, и ничего не узнаём. Интересно, правда?

Когда то, очень давно — это было ещё дома — мы с дедом пошли в зоопарк. Был солнечный день, осень, поздняя, листья уже лежали на земле. Сладостей не продавали, и мы просто ходили по парку. Дед рассказывал мне что-то, не помню. Он всегда что-то рассказывал. Набрели на площадку молодняка. Дед прочитал на табличке, какой именно молодняк там должен быть (я ещё не умел читать). Но на площадке никого не было. Дед объяснял мне, что зверята спрятались от холода по своим норкам — ведь у них нет одежды. Но я всё равно на них обиделся — ну и что, что холодно, всё равно могли бы выйти погулять.

А один человек искал свои джинсы. Просто он проснулся утром, и джинсов на нём не было. Он начал искать их, чтобы надеть. Он поискал их на кресле и на двух стульях, которые были в комнате. Джинсов там не было. Тогда он подумал, что, может быть, оставил их в ванной, когда раздевался там вчера, и поэтому пошёл в ванную и поискал их на крючочках, где висела другая одежда и полотенце, в стиральной машине, которая тоже стояла там, и в выварке с грязным бельём. Но там он их тоже не нашёл. Он подумал ещё, и стал искать джинсы в двух шкафах и в комоде. Там было много всего, но джинсов там не оказалось. Их не было нигде. Поэтому человек растерялся, и пошёл искать их на чердак. На чердаке было много пыли, а ещё там стояли три старых плетёных короба. В одном вообще ничего не было, в двух других человек нашёл рези-

новые сапоги, ложку, пальто, джинсы и ещё кое-что. Но это были не те джинсы, совсем другие, протёрты в пяти местах и на несколько размёров меньше, чем нужно. Тогда человек плонул слюной на пол и надел пляжные шорты «бермуды», которые нашёл там же.

Приветствуя вас здесь, дамы и господа! Сегодня я расскажу вам занимательную и поучительную историю Человека С Кочаном Капусты Вместо Головы. Ему ничего не было известно о предмете, замещающем его голову — да и что они могут знать, эти Кочаны Капусты?

Министерство здравоохранения Нашей Страны предупреждает: курение опасно для вашего здоровья. Смолы: 1,3 мг, никотин: 0,8 мг. Человек никогда не курил — он был здоровым человеком, да и не хотелось как-то. Он и не пил. Мог, конечно, выпить, но никто никогда не видел его пьяным.

У Человека было мало друзей. Зато у него была крыса. Отличная белая крыса. Она щекотала усами уши, когда бегала по плечам (крыса любила бегать по плечам, и хозяину тоже это нравилось). Однажды крыса залезла на цветной телевизор. Но это уже совсем другая история.

Человек был счастливым человеком. Ему всегда невероятно везло в жизни и никогда не бывало неудач. Другие люди несчастливы (иногда) потому, что знают — их жизнь не такова, какой должна была бы быть (странный — откуда им знать, какой она должна была бы быть? Наверное, они это чувствуют). Но Человек наш вообще ничего не чувствовал по причине отсутствия головы и наличия на соответствующем месте Кочана Капусты). Жизнь Человека была такой, какой она была. Поэтому он и не думал о том, какой должна быть жизнь. А может быть потому, что головы-то у него не было — вместо неё был Кочан Капусты.

Только не воображайте, пожалуйста, что Человек совсем не думал, потому что головы у него вовсе не было. Он думал. И умел делать это очень хорошо (кстати, они весьма вкусные штуки, эти Кочаны Капусты — если уметь их приготовить подобающим образом). За умение думать его все хвалили, любили и помогали ему всячески. Говорили, что он очень далеко пойдёт. Он и пошёл очень далеко. Правда, это уже совсем другая история. В предпоследний раз я видел его очень давно, а в последний — совсем недавно. Он сидел около моря. Не знаю, зачем он там сидел. Но мой дедушка когда-то говорил, что просто так только блохи скачут, а блохи здесь были уж и вовсе не при чём.

Ты знаешь Маленького Принца? Он живёт здесь, в городе, в большом доме у самой стены. Он всегда жил там. Тот дом, где на втором этаже на подоконнике обычно сидит чёрная с белой мордой кошка — это его кошка. Он родился через два дня после того, как кончилась Последняя Война. Правда, он узнал о ней гораздо позже, когда научился говорить и читать. Понятия не имею, где он прочёл о Войне. Он сказал мне, что опоздал, но ничего, он обязательно вырастет и станет Королём. Тогда он наденет доспехи, возьмёт меч, сядет на коня и поведёт своих рыцарей на Войну — ведь именно так и должен поступать Король. И ещё он спросил у меня, не слышал ли я, где можно найти какую-нибудь Войну, но Последняя Война уже кончилась, и я не мог ему ответить. Я просто сказал ему: «Нет. Я не знаю, где её искать». Он искал её сам. Искал под своими окнами, у хлебной лавки и у лавки мясника. Искал на дороге за городскими воротами и в лесном озере — ты знаешь это озеро. Он не нашёл её нигде — Последняя Война давно закончилась. Тогда он сел у своего окна и стал ждать почтового слугу — ведь должно же когда-нибудь прийти письмо о новой Войне. Неужели ты ни разу не видела его в окне на втором этаже, в доме у самой городской стены, там, где на подоконнике греется на солнышке кошка?



Площадка молодняка



Меня зовут Итинари Сигэмицу. Подпоручик пехоты Его Величества. Бывший. Даже этого имени теперь нет. Его не знает никто, кроме меня. В 19-й год Сёва я закончил офицерскую школу Накано. Школу офицеров военной разведки. Нас вычёркивали даже из посемейных списков. Не оставалось ничего, что позволило бы установить наши настоящие имена, время и место рождения. Ничего, кроме нас самих. Летом 1944 года я был направлен на Малайский фронт, в распоряжение второго разведотдела штаба армии его превосходительства Сейсира Итагаки.

Перед началом сезона дождей англо-индийские и чунцинские войска совместно с частями американских BBC, дислоцированными в Китае, перешли в общее контрнаступление. Нашим экспедиционным войскам пришлось отойти от индо-бирманской и китайско-бирманской границы в центральную Бирму, до линии Рангун-Мандалай. Тогда группа из трёх солдат и одного унтер-офицера под моим командованием через Нонкай была заброшена в пограничную с Таиландом часть Юньнани. Задача группы — наблюдение за действиями сил противника в бассейне Меконга. Была ещё и моя задача. Остаться в Китае. Ридзантеджу на случай нехорошего поворота событий. Так оно, собственно, и должно было случиться. Через месяц. Год. Два. Время не имело значения. Моя группа не была подготовлена к разведоперациям. Обычные армейские. Радиостанцию я потерял через две недели. Остатки группы ухитрился продержать целый месяц — не знаю, как и зачем. Всё. Дальше я был свободен. Ещё через месяц я был Лю Юн Да, сержантом гоминьдановской армии. Летом 20 года Сёва — с той стороны фронта он был 1945-м — командующий войсками Малайского фронта Сейсира Итагаки вынужден был подписать мир с командующим союзными войсками в Юго-Восточной Азии адмиралом Маунтбаттеном. Война закончилась.

Моя война закончилась через 16 лет. То, что ещё осталось от армии правительства из Чуньци, не то действовало, не то пряталось тогда в верхнем течении Меконга, на северной границе Лаоса и Бирмы. Там нас поддерживало население. К тому же мы снова были на стороне правительства — теперь уже правительства Бун Ума во Вьентьяне. Вместе с армией Носавана мы воевали против мятежников капитана Конг Ле и диверсионных групп из Народного Китая. Группами ходили по джунглям и стреляли в кого получится встретить. И они в нас, разумеется. На предмет кто кого раньше перестреляет. В армиях и правительствах обе стороны разбирались слабо — много их было. Армий, то есть. И правительств. Деревни грабили и при случае жгли. Задания у меня не получилось. Меня потеряли. «Идёт весенний дождь, и детский мячик мокнет на крыше». О моей группе знал только мой непосредственный начальник, майор Вада — вряд ли он оставил какие-нибудь документы об этом. Дома обо мне никто, пожалуй, не помнил. Да и дома-то у меня не было уже лет 17. Даже имени не было. Моя война закончилась. Я просто хотел вернуться. Больше всего.

В конце лета я добрался до Бангкока. Оттуда на голландском сухогрузе нелегально попал в Иокогаму. После двух месяцев в фильтрационном лагере в Камосаки мне удалось получить разрешение на въезд в Японию. Мне вернули семьдесят таиландских бат — около тысячи иен: всё, что у меня было, когда я сошёл с корабля. Я был дома.

При гадании в час Пса в шестнадцатый день двенадцатой луны тридцать шестого года Сёва был задан вопрос: «Какова Тацуко Кондо?» Была получена гексаграмма 39 — «Препятствие», перешедшая в гексаграмму 36 — «Поражение света».

Для молодой девушки это была неплохая зима. Всё вошло в колею — она устала от перемен и беспокойства. Тацуко Кондо работала на нефтехимическом заводе компании «Дайдо сэкию». Она была актрисой и писала хайку — когда-то, очень давно — кому теперь это нужно? Ей с большим трудом досталась эта работа. К тому же она позволяла снимать комнату в Токио — Тацу жила недалеко от станции метро Синоцука, в переулке за больницей. Работа не была тяжёлой и оставляла время. Она встречалась со студентом фармацевтического института — его звали Синдзабуро — «лучше просто Синко» — так действительно было лучше, полное имя выглядело слишком громоздким. Парень умный и надёжный — у них обоих были очень серьёзные намерения. Вечера были спокойны. Не ждала Итинари. Тацу уже почти не помнила его — ведь это тоже было очень давно, ещё во время войны. Да и не было толком ничего. Они познакомились в кафе на Синдзюку. Говорили несколько минут. Она почувствовала, что перестаёт себя контролировать. Слишком тянуло к парню — не знала, почему. Она ушла из кафе. Он нашёл её двумя днями позже. Не ждала. Так и не поняла, как он это сделал. Как? — Просто. Очень. У тебя на двери табличка с твоим именем. Кстати, почему «Тацуко» написано хираганой? Они встретились несколько раз. Потом он исчез — конечно, неожиданно. Собственно, она попыталась прогнать его в их предпоследнюю встречу, но он не обратил на это внимания. Итинари появился через 16 лет. Вечером. Опять нашёл её неизвестно как. Они говорили — о том, что было за эти 16 лет — он жил в Ласосе, она — в Кобэ у знакомых, а потом вернулась в Токио. «Не лучше ли сразу прийти? Опоздавшему — несчастье». Поэтому он и нашёл Тацу, как только вернулся в Японию. Конечно, он зайдёт ещё как-нибудь. Он зашёл — это было так же, как тогда, в кафе — хорошая девочка теряла голову. Тацу спросила, почему он приходит к ней — есть много подружек покрасивше и помоложе, к тому же у них ведь ничего не было. Он ответил, что любит её — не выносит этого слова, никому никогда такого не говорил, так было до неё, давно, но не говорил — глупым казалось и — стыдным, пожалуй. Да, он очень нравится ей, но она ничего не может сказать, ничего не знает. Поздно. Он ведь мог прийти раньше. Но пока она ничего не знает. Итинари пришёл ещё один раз. К тому времени Тацуко Кондо уже решила. Всё. Он не должен был больше приходить. Он ведь понимает, что могут быть неприятности. У него — она уже не одна, и могут быть проблемы. Скандал. В драку Синко не полезет, но он вполне может устроить скандал. С превеликим удовольствием. Да, мать твою, да. Сигэмицу Итинари лучше, в тысячу раз лучше — ведь правда? Она много теряет — она всё теряет. Но будет терять. Всё наладилось. Не нужно, чтобы были варианты. Всё очень просто — прямая дорога. Не нужно, чтобы были повороты. Душу твою, Итинари-сан, если бы ты пришёл чуть раньше. Тацу спорила одна — Сигэмицу начал говорить потом. Он сказал, что всё не так просто. К сожалению. Что не может быть пути в обход внутренней правды. И ещё он сказал, что не должен бы говорить с ней так — с поучением каким-то. Что у каждого свой ад — из тех, кто уже дошёл до ада. Не может быть помощи от других. Но он хочет, чтобы Тацу нашла его, когда ей будет очень плохо. Она проводила Итинари до двери на улицу. Вечером пошёл снег — мелкими твёрдыми крупинками. В комнате было тихо — можно было слышать, как снег шелестит по стеклу в окне.

При гадании в час Крысы в двадцатый день двенадцатой луны тридцать шестого года Сёва был задан вопрос: «Каков Итинари Сигэмицу?» Была получена гексаграмма 12 — «Упадок», перешедшая в гексаграмму 6 — «Суд».



Площадка молодняка



Солнце уже всходило, когда он поднялся на крышу — примерно половина оранжевого круга была видна. Было очень холодно. Итинари слышал, как звенят огромные кристаллы холода. Высоко, медленно поворачиваются и звенят, ударяясь друг о друга. Ветер. Сегодня северный. Постоял лицом к ветру, оценивая его силу. Поёжился и спустился на чердак. Достал свёрток из-за вентиляционной трубы и развернул. Русская СВТ-40. Неплохо. Оптика штатная. Боковая, стало быть, +2. Хватит? Хватит. Открыл окно. Нужная часть дома уже была под солнцем. 950 метров. Ещё раз по базе. 950. А магазин положили полный. Сделать им ещё и охрану клиента. В порядке обучения манерам. Ладно, пускай. Первый, по возможности, в голову. Остальные, сколько получится, в падающее тело. Восемь шестиэтажных домов. И два четырёхэтажных. Выстрел может быть сделан из пяти зданий, остальные закрыты от цели. Но на цели этого сразу не сообразишь. У них уйдёт время. Слишком много времени. Когда они доберутся до этого чердака, здесь будет только чистая винтовка и три пустых гильзы. Или четыре. Русская винтовка, разумеется, из Китая. Достать её не было бы сложно. Убийца ушёл. Он пытается убежать как можно дальше от этого места. Полиция перекроет дороги, поставит посты на вокзале и на автобусных станциях. В основном из вежливости. Вежливая, хорошо воспитанная тайская полиция. Итинари Сигэмицу будет у себя в квартире. На пятом этаже — он спустится на этаж по лестнице. Да, он слышал странный шум утром. Этот шум и разбудил его. Выстрелы? Может быть, он не уверен. Он был со своей знакомой — нет, она не проснулась, вчера она выпила больше, чем следовало бы. Сразу вышел на лестницу. Нет, он никого не видел. Кроме соседей — они тоже слышали шум и вышли. Убит? Что вы говорите! Ну что ж, его не вернуть. Теперь его война кончилась — у каждого своя война. Такой человек! Двадцать минут — если клиент не изменит своему распорядку. Через одиннадцать нужно будет снять кожаные перчатки. Останутся нитяные. А сейчас просто ждать. Холодно.

Никогда не скажешь заранее, как и что сложится. Раз складывается удачно. Другой — неудачно.

У Нины сложилось обычно. Она родилась где-то в Туркмении. Отец был начштаба стрелковой части. Жили в расположении. Было жарко, не было воды — раз в два дня её привозили в бочке из скважины в посёлке. Иногда в комнату заползали змеи.

Семья много раз переезжала. Возможность устроить дочку в школу была не всегда, и её отдали в интернат. Нинка была умной девочкой и училась легко. К тому же прилежания ей было не занимать — мама росла в крестьянской семье с девятью братьями и сёстрами, уж она-то знала, как приучить ребёнка к послушанию с самого начала. И ребёнок всегда был на виду — отличница, председатель совета отряда. Ниночка ходила на хор, кружок кроя и шитья, вытягивала отстающих, отвечала за ДЗ и поведение в классе. Она окончила школу с золотой медалью и поступила в университет в городе, где когда-то училась в пединституте мама, на физический факультет. Не то чтобы Нинка питала особую страсть к физике. По большому счёту ей было всё равно, где учиться. Просто учителем физики была её мама, которой девочка привыкла доверять во всём — как правило, мама действительно оказывалась права и знала, что должно случиться и когда. Училась хорошо и без героических усилий. Не прочь была посидеть с подружками «за жизнь», сходить куда-нибудь — ведь это большой областной город — но всегда чувствовалось что-то, отделявшее её от других, не сказать, что — какая-то тень, мелькнувшая в воздухе.

Нинка вышла замуж на пятом курсе. По залёту. Не было у них ничего «этакого». Вернее, у неё. Было уместно. Андрей — парень нормальный, да и девочки все уже при мальчиках. Тень, совсем прозрачная. Но он не умел видеть тени. Он был дневным человеком, очень дневным. И его ещё никто никогда не приводил туда, где тени живут. Обычная семья, одна из. Нина, теперь уже Нина Николаевна, распределилась в школу, здесь же, в городе, и сразу ушла в декрет. Андрей, краснодипломник — остался на своей кафедре. Они прожили вместе семь лет.

Когда Андрей заболел, они жили в Ленинграде (ему предложили научного сотрудника в ЛГУ; естественно, он согласился). Дальний родственник Нины устроил его в клинику Военно-медицинской. Там сказали, что ничего нельзя будет сделать. Что невозможно даже точно сказать, сколько ему осталось. В их семье всё изменилось. Они вернулись в свой город, где у Андрея была квартира. Оказалось, что Нинка устала, ей до смерти надоело всё: этот больной козёл, его лицемерно-истеричные родители и сама жизнь, в конце концов. Она сделалась просто невыносимой. Андрей превратился во что-то жалкенъкое, совершенно не похожее на него, озлобленное и мнительное. Как, за что — это не могло уложиться у него в голове. Ссоры стали для них чем-то вроде утренней чистки зубов — если не было, что-то было не на месте. Несколько раз заходил разговор о разводе, но дальше дело не шло. Нина не собиралась терять квартиру. А Андрей так и не смог до конца поверить в то, что происходило. Это была совсем другая Нина, незнакомая, жуткая какая-то. Почему, за что? Спрашивал её об этом много раз. Когда он умер, было облегчение. Как от сделанной большой работы.

Нина Николаевна с дочкой остались жить в квартире. Аня ходила в школу, где работала мама. Через несколько лет мама стала директором этой школы. По вечерам она сидела дома и смотрела телевизор. Спать ложилась рано. Гости у них бывали очень редко — Нина совсем не знакомилась с новыми людьми. А ещё она всегда старалась экономить электричество.

Я расскажу сказку о кошке. Кошку звали Кошка. Отличное кошачье имя, по моему. Была эта кошка кошкой из кошек — трижды кошкой. Ловкая чёрная тварь, красивая, вороватая и ласковая. Кошка давила и ела крыс. Кошка таскала бутерброды из рук у моих гостей. Кошка спала в раковине умывальника. Ни одна другая кошка не делала того, что делала Кошка. Кошка была приблудной кошкой. Она всегда гуляла сама по себе. Однажды зимой она ушла. Не знаю, что с ней случилось дальше.

Жильё снято до конца июля. Парень даже купил ей телевизор. Сказал, что настоящий мужчина должен. «Непуганый» — у неё всегда получались погонялки.

Сегодня она вернётся туда поздно. Чей-то день рождения — не помню чей. Да я и не знал большую часть ее знакомых. Зажжёт свет в прихожке и стащит с себя сапоги. Откроет горячую воду в ванной, уже совсем холодную — скоро стечёт. Достанет из холодильника кастрюлю смерзшейся в кусок льда картошки — ебанутый холодильник морозит в лёд всё. Поставит её на батарею, чтобы не сжечь на плите. Пойдёт в комнату, включит обогреватель, телевизор — там будет какой-то фильм, начнёт кидать в кресло смятую одежду. Спустит трусики, оставит их на полу. Полезет в ящик комода за новыми, будет рыться там с минуту, тихонько выматерится и включит-таки свет, на несколько секунд — разобраться в комоде. Лифчики на ней, наверное, не будет — никогда их не носила. Кажется, их даже не было в вещах. Пойдёт в ванную. Через



Площадка молодняка

031



полчаса выйдет оттуда, завернувшись в полотенце, не выключив уже шипящий телевизор откроет окно. Будет сидеть на подоконнике, курить и смотреть на снежинки в свете фонаря внизу.

Разлад и одиночество. Увидишь свинью, покрытую грязью, увидишь, что бесы заполняют всю колесницу. Сначала натянешь лук против этого, но после отложишь его в сторону. Если бы не разбойник, то был бы брак.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ВЕРСИЯ 67.11/253

Они познакомились в октябре, это была грязная комната в общаге, а потом был звонок ночью — «привет, ты любишь запах жёлтых листьев?», и сырой к вечеру лес, он был посажен лет шестьдесят назад, и можно было сидеть на слое листьев, говоря о чём попало, а деревья рядами шли на закат, всё было на тысячу лет и потому не думалось ни о чём. Тогда они оба были совсем ещё безмозглыми щенятами, $16+17=33$.

Потом была зима, они почти не виделись в то время и он знал, что она с другими, она жила у них, переходя от одного ко второму, а он искал и писал сумасшедшие записки. Ему действительно нужно было чувствовать её рядом, и поэтому хотелось сломать и сжечь всё равно что, кого, её, себя, пусть горит весь мир, пусть вопит дурным голосом и тогда, может быть, станет проще. А по утрам было холодно, Солнце вставало, но его не было видно из окна, и узнать о нём можно было только по отражению в окнах дома напротив. «В мозгах всё это ясно и звонко... наверное, так: ты сильный, унеси меня, закрой лесом, стеной, руками. Почему мы не видимся? Тогда это было бы невозможно вытерпеть».

Весной они жили счастливо, но не виделись всё лето. Потом он узнал, что она в квартире, кем-то для неё снятой. Долго говорили, узнал ещё и о том, что «кто-то» познакомился с ней случайно, что человек недокучливый и зарабатывает до хрена, что дурачок, романтическая натура. Что не стоит верить, может быть «кого-то» и нету вовсе. Он много раз приходил туда, там он впервые переспал с ней, там они устроили свою странную помолвку, знали о которой только двое — «Will u love me? To the end o'time?» Ничего не значила, он знал — уж свою-то девочку он успел выучить нас kvозь. Каждый раз на душе было тошно — не тошно, а гадковатенько как-то, как если бы в гостях тебя застали сущим в хэзайскую раковину. Пусть горит всё. «Мы будем здесь долго. Целых десять тысяч лет, пока не умрём. Ты будешь уходить каждое утро, когда солнце будет прямо в окно. Я ничего не смогу сделать, но через много, много лет я стану ведьмой, и тогда ты не уйдёшь больше. Тебе будет хорошо. И совсем ничего не будет нужно».

У истории нет конца. Они виделись всё реже. У каждого были свои дела: у него деньги, так нужны были раньше, тогда квартира была бы снята им, у неё — очередной приятель. Иногда они встречались и очень много узнавали друг о друге.

Однажды моей подружке было плохо на душе. Она пришла к старшему брату, но у брата не было настроения. Он сказал ей пойти и залезть в холодильник. Девочка была небольшого роста, поместилась в холодильнике и посидела там. Было холодно. Потом она увидела на регуляторе реле надпись «норма». Тогда она поняла: норма. И вылезла из холодильника.

Я очень давно не сидел на раскрытых окнах. Когда-то я любил делать это. Нужно выбрать высокое старое здание, в которое просто войти.

Например, университет. Подняться на верхний этаж (народу там обычно немного), открыть окно и сесть на подоконник лицом наружу. Можно свесить ноги и поболтать ими за окном. Если надоест сидеть — встать и походить по подоконнику. Утром лучше сидеть на теневой стороне здания, вечером, ближе к закату — на солнечной. В пасмурный день — на наветренной. Особенно перед грозой. Это летом. Зимой сидеть на раскрытых окнах холодно. Таньке не нравилось, когда я сидел на окнах. Она боялась их. Там было очень высоко и воздух, очень много. Тихо. Видно город. Стена. Иногда солнце и ветер.



У меня дома стоял телефон. Сиреневый телефон с кнопками. Когда-то я его поставил. Мне нравился этот телефон. Любое электронное устройство имеет недокументированные управляющие команды. В своё время я обнаружил, что для удаления из памяти последнего набранного номера достаточно нажать «redial» при неснятой трубке. Мне очень полюбилась хитрость, часто пользовался — не знаю, зачем. Тогда знал. А потом оказалось, что совершенно неважно, какую именно кнопку нажимать — номер в любом случае стирается. Но это было через четыре с половиной года, когда мне было уже абсолютно всё равно.

По существу заданных мне вопросов поясняю, что в воскресенье, 18 апреля, я вернулся домой около 21 часа с прогулки со своей собакой «Джина». Моя жена Виктория в это время находилась дома на кухне и готовила ужин. В этот день я был на работе и сильно устал. В состоянии алкогольного опьянения не находился, я не люблю выпить, хотя иногда выпиваю на работе. Жена начала говорить мне что-то, что я не помню, кажется, что нужно было купить хлеба и что перегорела лампочка в ванной. Наверное, она говорила обычным голосом, хотя мне казалось, что очень резким и пронзительным, потому что я хотел просто лечь, выключить свет и ничего ни от кого не слышать. Я попросил её, чтобы она замолчала, но она продолжала что-то говорить. Что, я уже не понимал. Тогда, чтобы она перестала, я взял со стола нож и несколько раз ударил её — наверное, около десяти раз — в грудь и в шею. Потом я бросил нож на пол на кухне, пошёл в спальню, лёг на кровать и заснул. Когда я проснулся в 9 часов утра, я принял душ, переоделся и позвонил в милицию. Через 30 минут приехала милиция и её сотрудниками я был задержан. Ссор с женой за все семь лет, что мы жили вместе, у меня не было. Наверное, я и сейчас ещё люблю её и любил всегда. Убивать мою жену я не хотел. Свою вину за содеянное полностью осознаю.

Настоящее объяснение мною прочитано. С моих слов записано верно.

Мы не собирались жить. Во всяком случае, никогда об этом всерьёз не думали. Ни я, ни те, кого я достаточно близко знал — Макс, Женя, может быть, ещё пара человек. Понятия не имею, подобрались ли мы по этому признаку, или признак потому, что подобрались. Правда то, что мы не собирались жить, вовсе не значило, что мы собирались умирать. Напротив, большая часть оказалась очень даже живучей. Просто так нам было свободнее, хотя никто и не знал этого словами, всё было очень просто и без них. Были похожи на недотравленных тараканов, вылезших на свежий воздух — это было классно, мы всё могли и всё знали. Но ни у кого из нас не было жизни. А ещё нам никто не говорил, что некоторые вещи имеют свойство накапливаться (само дошло, Женя тогда сказала, что люди убивали друг друга просто так, а потом придумали заповеди — чтобы не убивать). Позже заповеди понадобились защищать, и убивание друг друга стало ремеслом, а ещё они придумали фор-

**Площадка
молодняка**

033



сированный допрос. Даже составили кое-какие руководства на этот счёт. Когда заповеди всех заебали, на них забили болт и изобрели гуманизм (тоже чтобы не убивать, а вроде как бы и уважать). После поняли, что чушь это херова, и начали убивать промышленным способом на предмет нагнать потерянное время. Впридачу сочинили специальное оружие, такое, чтобы убить сразу всех). Прошло восемь лет, и теперь я почти ничего не знаю. Раньше я думал, что все мы потеряли что-то из того времени. Теперь мне чаще кажется, что мы чего-то не нашли.

Давно, когда мы ещё жили дома, Макс рассказывал мне об одном случае. Летом, после нашего второго курса. Я был в университете, он — в своём политехническом. В нашем районе в подвале одной из «свечек» (их тогда было только три, две шестнадцатиэтажки и одна — двенадцати) была кафешка. Летом Макс работал там непонятно кем вроде подсобника. Барменшу звали Люба, помнится, ей часто нужно было подняться к хозяину на второй этаж, разговаривали они там обычно часа два-три, и на это время заведение оставалось на Макса. К нему ходили толпы гостей, обычно Женька (ради неё закрывалось кафе и открывалась подсобка), я или мы с ней вместе. Обычно это было не в пиковое время, и можно было спокойно посидеть.

Однажды к Максу забрёл какой-то чужой. По крайней мере нечасто мелькавший в районе. Чужой был уже малость поддавши, а звали его Алексей, но это выплыло позже, когда они с Максом сидели за столиком с пивом и копчёной хамсой. И был Алексей странным — не то чтобы восторженным, восторженненьким каким-то. Так бывает с пьяными. Служил он доцентом в медицинском, рыжим кудревато-лысым веснушчатым доцентом сорока трёх лет. Был женат девятнадцать лет и очень счастлив. Очень любил свою жену — он сам так сказал. Его сын поступил в институт, очень увлекается компьютерами, да что ты, ты тоже разбираешься в компьютерах, а какой компьютер самый лучший — я хотел купить, как для чего, а для чего они вообще бывают? Ну так я обращаюсь к тебе, если что.

Они поговорили о сложностях жизни, о положении в науке в смысле защиты диссертаций, Макс ни хрена в этом не понимал, но разницы не было. Потом перешли на достоинства мороженого в ледяную кашу пива и на то, как неплохо бы разжиться парой девок. Лёшенька выглядел при этом студентом, хорошо готовым к зачёту. После второго соскока на «может, поблядствуем и без девок» Макса сорвало. Так бывало с ним. А вообще он был весьма трезвым и рассудительным человеком. Насколько может быть трезвым и рассудительным человек, так знакомый с кислотой. Он схватил клиентика за шкирку и затащил в подсобку. Лёша оказался резвым парнем — по дороге он успел расстегнуть штаны и полностью прийти в боевое положение. Начал рвать штаны с Макса. Ни хрена. Макс сел на диван и попытался изобразить Женькину манеру минета. Кроме того, будучи в весёлом настроении, изрядно поработал зубами.

Несчастный Лёша вырывался пару раз и с рычанием пробегал туда-сюда по подсобке, но каждый раз был ловим и за воротник водворяли обратно к станку.

Потом они сидели на потёртом тамошнем диванчике, и Алексей очень благодарили Макса. В основном за то, что теперь у него раскрылись глаза. Благодаря такому необыкновенному человеку. Которому девятнадцать, но насколько же он старше. Старший брат — можно так называть? Много всего ещё говорил. Что теперь обязательно найдёт себе мальчика. Насчёт девочки? Нет, он не знает, неправда, это не проще, ну и что, что он преподаватель? Макса пёрло, он смеялся. Совершенно не

мог удержаться. Они вышли в зал, Лёша присел за свой недоеденный столик. Пришла Люба, и Макс повернулся к ней позубоскальничать. За это время Алексей исчез.

Мы смеялись и позже — странный задавленный пидарёнок, смешной, очень смешной. Я помню всё, это было время, когда мы ещё жили дома. И потому ни хрена не поняли в этой истории. Во всяком случае, я. Не смешной был Лёша. Скорее жуткий. Потом мы видели место, откуда он пришёл. Раньше, чем могли представить себе тем летом. Может быть, МЫ вернулись оттуда. Не знаю. Хорошо бы. До меня ЭТО добралось очень здорово. Ничего страшного там не было. Люди, они жили в своих домах, ели свою еду, работали, у них росли их дети. Иногда эти дети поступали в институты, и тогда люди покупали им компьютеры. Самые лучшие, даже если для этого приходилось занимать деньги.

Нам было хорошо. У нас было время, целое лето. У нас была Женяка, одна на двоих. По вечерам Макс выбирался на крышу «свечки» посмотреть на закат. Я иногда вылезал на вторую. Посидеть на тёплой смоле. На ней оставались следы от туфель. Мы сидели на крышах. Иногда переглядывались через сто метров — они нас вполне устраивали. Ведь говорить было совсем не нужно. Это было НАШЕ — город, небо с закатом и сто метров воздуха между крышами. Тогда мы ещё жили ДОМА.

С тех пор я очень много раз вылезал на разные крыши, и могу сформулировать следующие основные положения относительно них: 1. все крыши очень похожи друг на друга; 2. сидеть на крыше несколько приятнее, чем под крышкой; 3. сидеть на крыше никогда больше не было так, как тем летом. Мне неизвестно, в чём тут дело.

Одна моя подружка как-то сказала мне, что никакой я не злой, хотя очень похож. А за год до этого сказала, что не понимает, откуда во мне столько зла и ненависти ко всему живому. К ней в том числе. Это после того, как я выбросил из окна собаку. Ту, которая жила в подъезде, она забежала в квартиру, я выбросил её обратно, она со страху забежала опять, и так раза три. Зла не было, просто из ада не возвращаешься целиком. Даже если ты сам его придумал и талантливо организовал — исключительно для себя. То, что вернётся, будет замечательно обучено добрю (дуряцкие штампы, вроде всё всем понятно, ну да хрен с толковыми определениями, привяжем «добро» и «зло» к абстрактненьким «созданию» и «разрушению» соответственно). Может быть, даже сможет дать таковое другим. Но часть тебя сдохнет там.

Большой дождь обычно ходит столбами. Толстыми водяными столбами. По крайней мере так это выглядит, если смотреть из окна высокого этажа. А перед дождём блочные дома обычно бывают очень белыми. Они никогда не бывают так белыми в других обстоятельствах. Есть ещё очень много всяких маленьких вещиц, которых в норме никто не видит, а если и видит, то не говорит о них. Просто они слишком малы и незначимы практически для сообщения о них кому-нибудь. В деревне так появлялись знаменитые «народные приметы», но мы заняты совсем другими вещами потому, что живём в большом городе (он очень другая штука), родились здесь и останемся (больше эти самые совсем другие вещи взять негде). Мелкие вещицы — это магия. Одна из её сторон. Если кто не в курсе, магия никогда не была способом воздействия (хотя именно так она часто и выглядит со стороны). Скорее способом определения своего места — встраивания себя в мир и выделения себя из мира (отсюда и всеми слышанная «сила» — конечно, если это управляемо). Однажды Макс понял (или придумал) это. В очень философском настроении. Иначе такое не поймёшь — слишком смахивает на смесь какого-нибудь Тимоти Лири с куском Кастанединого сериала. А ещё магия



Площадка молодняка



имеет направление — у каждого своё. Оно определяется способом отключения рационального восприятия. Многие делают это при помощи психоделиков (ау, Лири). Дорого и очень редко получается (обычно у тех, кто смог бы и без кислоты). Но в любом случае — с кислотой или без — нужен «вход». Это что угодно, не знаю, от чего зависит. У Макса была смерть — любой контакт с ней. Он обожал оружие — пропорционально эффективности: ведь двуручный меч хуже ДШК, хотя, возможно, и красивее. С удовольствием читал кучу всякой японской херни с обрядами харакири и т. д. Давно — ему было лет 10 — на лето Макса отправляли за город. Он ходил в степь. Было жарко и тихо, он был абсолютно один там. В траве жили кузнецы. Двух разновидностей — с красными и синими крыльями, но видеть это можно было только тогда, когда кузнец прыгал и перелетал. Красных было больше. Макс ловил их и прикалывал иглами к кускам картона. Они долго умирали — иногда по десятку дней. Максова комната была завалена сохнувшими кузнецами на картонках, и от них там всегда стоял особенный запах. Не знаю, с чем его можно сравнить. Насушите кузнецов и узнайте.

Никогда не бывает чистого «добра». Это оттого, что мы не бываем ни «добрьими», ни «злыми», а бываем слишком сложными для бинарной классификации. То, что ты делаешь, всегда будет иметь определённую концентрацию «добра». Неплохо, потому как никто не сможет взять твоё «добро» в чистом виде — ждут «зла», хоть немножко, знают, что чистого добра нет (есть в токсической концентрации — non nocere).

Примешь тени, будет такая себе магия. Бывают чёрные вещи, бывают белые вещи, бывают тени. Для них нет лишнего. Поймёшь и это. Если примешь.

Люди живут здесь и имеют правила aka моральные нормы aka «понятия». По понятиям живут, то есть. Сама по себе жизнь есть безусловная ценность. Почему? Ну, как это почему! Потому! Потому, что... потому!!! Особенно если семья и дети — а это всё обязательно, потому, что так надо. Кому надо? Ну, надо!!! Есть тот, кто прав, и есть тот, кто виноват, и отсюда берётся справедливость. А может, наоборот. Прежде чем делать, всегда нужно уточнить настрой справедливости, это когда по добру и понятию. Сначала, значит, перетереть весь вопрос, а потом только что-то решать. Иначе никак.

Как-то Машка рассказала мне сказку. О маленьком мальчике. Мама выругала его, он обиделся и пошёл в лес. Шёл долго, пока не вышел на поляну. На поляне была тропинка, которая вела в небо. Её протоптал тот, кого никто на свете не любил. Очень давно. Потом этот человек вообще ушёл по ней, и с тех пор его не видели. Мальчик пошёл по тропинке, но там дул холодный-прехолодный ветер, было очень страшно, и он упал вниз. Там, куда он упал, были одни камни. Что-то вроде кольца скал — по крайней мере, так я это увидел. Оттуда никак нельзя было выбраться. Мальчик стал пробивать себе проход через скалы (не знаю, чем — но ведь это всего лишь сказка). Он пробил проход и вышел в лес — тот самый лес. Мальчик нашёл ту самую поляну, и там его ждала мама. Вот только сам он был уже совсем старым и седым. Занятная сказочка, правда? Не знаю, откуда М. взяла её. Совсем не думала и не пытаясь вспомнить. Как будто сказка пришла сама.

Площадка молодняка

-  **Как я пишу верлибры**
-  **Один из примеров происхождения иероглифов**
-  **Последний annus тысячелетия**
-  **Буколика позднейшего эллинизма**
-  **Конспект карты**
-  **Пенис в пенсне Соломоновом**
-  **Ане Рапопорт («Теперь полу жизнь...»)**
-  **О снах и о Марке Шагале**
-  **Per aspera ad astra**
- Владимир Николаевич КУПЯНСКИЙ родился в 1973 в п. Беловодск Ворошиловградской области. С 1990 по 1994 — студент мехмата Харьковского госуниверситета; 1994–1995 — студент отделения архитектуры Харьковской городской академии городского хозяйства; с 1998 — студент литературного института им. Горького (Москва). Ранее не публиковался. В настоящее время живёт и работает в Харькове.



Как я пишу верлибры

Какая гадость эта Рю Ипполит Мандрон. Ненавижу все эти грязные, узкие, кривые улочки с романтическими названиями, что разбегаются в разные стороны от моего дома. Париж представляется мне огромной уродливой язвой...

Г е н р и М и л л е р. «Мадемузель Клод»

**За пазухой — (а может быть) в паху —
подмышкою — пропахшей подворотни
(здесь чит-лю должно видеть шелуху
очистки вату мокрую труху лужёный противень
недоцарапанное «ху» приставленный на две к углу
двора в который ходит детвора стульчик Или напротив —
двусмысленные кольца виногра... да завитые лепестки
обломков кованой ограды
пульсирующее марево тоски по щам из атлантической трески
по содержимому маxрового халата
распахнутого странною соседкой
самозабвенно шепчущей что клетке
грудной ужасно свойственны соски
особенно в лучах заката)
ещё стоит (текст трудно комментировать. Кто? Что?
Стоит зачем? Вопрос? С какою целью?)
**февраль в простреленном пальто
апрельской оттепелью** (образы веселья,
весны грядущей вовсе не уместны! Бег —
условный — времени — для тела безусловен и губителен).**

**Но скоро, оседает в снег
из тела уходящею капелью —
с начала — в землю, а затем — в обитель
неба.**

.....

За пазухой — в паху —
подмышкою — пропахшей подворотни
ещё стоит
февраль в простреленном пальто
апрельской оттепелью.

Но скоро, оседает в снег
из тела уходящею капелью —
с начала — в землю, а затем — в обитель
неба.

[27, 28 ноября 1998 г.]

Один из примеров происхождения иероглифов

A. P. (ЗАТАКТ)

Откинув одеяло, вяло егозя
всем телом в душном полудне, нагая,
ты вряд ли спиши, я смутно понимаю,
что нет тех способов, которыми нельзя...

И всё же не спешу. Пока что, не спеша,
я повторяю в непросохшей глине
тебя — настойчивым штрихом карандаша
взведённую пружину на пружине

дивана. Не заметив, как давно
под пальцем, наводящим глянец
на «новой коже», розовым пятном —
стигматом наших мыслей об одном
и том же — проступил румянец.

(ИЕРОГЛИФ)

Минута — шестьдесят секунд, сто двадцать
ударов сердцем. Двадцать пальцев
в замке, в сцеплении пять-на-пять
(не распаять). Распять, распялить,
разгадывать, разгладить, разглядеть
отъятую изогнутую треть
тебя, теряя выдох, теребя
(здесь — умолчание), мочаля
о зубы губы вектором плеча,
зашедшегося в дрожи, замечая,
как оплываешь, как свеча,
кончаю.
Опзываю
тоже.

(POSTFUCKTUM)

Когда-нибудь по принципу подобий,
прочтимых только мной-тобой,
введу в язык — как некогда Мефодий —
протяжный верхненёбный горловой
дифтонг.
По выемкам в измятой простины
или проекции двух тел на потолок
рисую букву на спине
твоей — заглавную для всех тех строк,
в которых чувство ритма — чувства,
сшедшиеся клином между ног.

[1999]



Последний аппензир тысячелетия

©
Те-те-те!
ПРЕДпоследний.

Соткав узор в лазоре-сумеречном, —
опутав воздух нитью света, —
упал светляк на стол закусочной
как догоревшая ракета.
Так начиналось лето.

У стойки, в алкогольном выдохе,
как в мареве костра, под фисгармонию,
плясали дамы нераспознанные вывихи
среди оплыvших лиц и прытких на шлепок ладоней.
Один из двух подростков, нерезонно
побиввшись об заклад на «Херес»,
что трезв, и что от этой урны
пройдёт по линии вон до того газона,
стоял на четырёх. Второй борол окаменелость
ходульных ног, и будто на котурнах,
с зажатой в кулаке кассетой,
шагал не к лабухам, а в сторону клозета.
Так начиналась юность.

Их дама, уводимая на дюны
жуаном в парусиновом костюме,
училась счастьем — ей казался клипом
из старых песен о табу, о главном,
 побег с сорокалетним типом,
похожим на бердслеевского фавна.

Так начиналась женщина — со всхлипом,
под плюхи волн в просоленные сваи
причала, что неумным рыбам,
должно быть, виделся не краем
цивилизации, а, собственно, началом.
Началом как судилищем. Форпостом
земного рая, новой сущности. (Отсюда
все рыбы выйдут братьями по блоду
к вечерне дня грядущего.) «Апостол»
уже спешил извилистой тропою
из града горного к причалу с аналоем
(подставка для удилища; прим. авт.). Так
я объясняю клёв —
как суицид на завтрак.

Так начиналось утро — как и прежде:
зардеввшись от стыда, Аврора
в отяжелевших от росы одеждах
столетней ключницей вступала в город.

[июль 1999 ©]



**Буколика
позднейшего эллинизма**

Аштарт! К Тебе в простудный будень
не забубённым — торным как большак —
недостихом (эклогой) — кое-как —
едва ползу, как медный бубен

Ра. И ударяюсь оземь, как и Он —
авось расслышат. Слышишь, дребезжу:
прошу под стать пастушку, госпожу...
обманом, подкупом, ведь этот моветон
привычен вам, бессмертным!.. Но
один по-прежнему: на «акр» стиха вокруг
развалины двора, осевшее гумно,
точильный камень и щербатый плуг.

[17 ноября 1999]



Конспект карты

Иди по памяти, на эхо, в общем, до бульварчика, где став за Монументом, — спиной к стене, — увидишь слева дом с атлантом, угреватым от цемента.

Второго нет. Но раньше, видно, был — когда атланты, скажем, были в моде. Теперь лишь арматурина напротив, на уровне повязки... (*Кстати, пыль*

ещё не стёрла надпись на табличке: с такого-то... — по-моему, лет сто здесь жили и ругались Лев Шестов и оппонент Шестова — Похер (кличка)).

Парадный заколочен — как тогда!..
(*Ты, помнится, шутил, что, дескать, сзади не только вдовы в мужниных кроватях, но даже и большие города*

берутся легче.) Стало быть, ко мне — всё так же, как и прежде: снять калитку, споткнуться о разобранную плитку, испачкаться в неубранном...

*Извне
всё как и было: темень... скрипы петель...
и половиц... и наш рыдван-кровать...
привычка не стыдиться, не стонать попытка...*

*Если счистить пепел
(«отмыть Помпеи», «снять культурный слой»),
ты снова дома — юный, дерзкий, громкий,
цитируешь себя, И ДЛЯ ПОТОМКОВ
ШТАМПУЕШЬ СТЕНУ ГРЯЗНОЮ СТУПНЁЙ.*

[конец августа 00 г.
Харьков]



Пенис в пенсне Соломоновом

A. K.

Здесь выстыло. В полукольце разъятых
твою привычкой, моим коленом, —
угрюмо, как в церкви. И сырьо. Свято
и пусто — еврейская Пасха. Мерно

скрипит такелаж: простыня, застёжка
бюстгальтера с модным китовым усом,
матрац и так далее. И немножко
тошнит, как при качке. Застыть. Свернуться

калачиком. Снова просить Астарту...
Не видеть фригийский в прожилках мрамор
фригидного тела. Забыться в мантре,
заученной в школе, как «Мама... раму»,

и этот удушливый купол подмышки,
расписанной ультрамариновой синью
забритости, вспомнить, как сон — одышку
в горячем мареве Абиссинии.

[3.10.00 г.]

043



•••

Ане Рапопорт

Теперь полужизнь на твоих чемоданах
закончилась. С палубы корабля
ты что-то кричала. При прочих равных
я слышал, как дождь барабанит для

толпы провожающих марш «Прощание
евреев с славянами» на манер
«прорвавшего крана», в котором ранее
всю воду ... (и дальше по тексту). Сквер-

но! Видно, и в третьей главе «Планиды
моих отношений в постели» — та же
концовка: она убегает, сказав «иди ты»,
а может, «до встречи», уже — не важно.

Всё сходит на нет. И за поднятым воротом —
пустой морвокзал с «продырявленной маткой»
известного Эрнста, подаренной городу,
как символ Истории — общей и краткой.

[середина октября 00 г.,
Одесса (незримое присутствие) — Харьков]



О снах и о Марке Шагале

A. P.

Сейчас ты спишь. И под горячим веком
дрожит зрачок, сжимая яркий свет
другого дня, где над гнедой абрека
трясёшься в горы, связанныя... Нет,

сейчас ты только вскинулась над мёртвым
от сна и поздней осени плато,
врезаясь в небо пикой, суммой ортов,
нагою девушки в расстёгнутом пальто,

взнуздавшей не метлу. Не ведьмой,
а просто так — подростком, заграниц
желающим увидеть... Мятой медью
лица — листом осенним — опадаешь ниц.

Назад в подушку, в новый кадр, в котором
всё так привычно: витебский еврей
всё плотничает — города заборы
вокруг Эйфелевой башни, но твоей

по праву сна и против географий,
которых ты не знаешь, ну и пусть:
так крепче спится... и легко потрафить
любому умнику, что помнит наизусть

весь атлас мира. Ну а в «этом мире» —
всё сходится!: деталью за деталь (!).
И дважды два — по-прежнему четыре
потёртых тома, увозимых В. Даль.

И мы с тобой (хотя сейчас полсотни
десятков миль меж нами) — тет-а-тет
в продуманной тобою подворотне —
спешим заняться, прежде чем рассвет.

[в ночь с 9 на 16 октября 00 г.]



Per aspera ad astra

Ты видишь, где солнце оплавило крыши
складских помещений, — быть может (я в этом
не смыслю), — бараков, ангаров — не важно!..
Вон там, где сгорела не этим — тем летом —
штуковина ржавая, сразу за грызей
(по-моему, это зовётся пассажем).

Вон в той стороне, между: слева — Казанским
собором, а справа — а Бог весть, чем справа? —
какой-то невнятницей, чем-то слоёным,
лоскутным, осевшим, недобрый, дикарским —
я понял! — слободкой (жилые районы
за Лопанью, видишь, за сточной канавой?)...

Так вот! Где-то там, на два пальца левее
тюрьмы — храни, Господи!, прямо под бубном
ноябрьского солнца (здесь важно быть точным!)
лежит Иудея (я знаю, что трудно
её разглядеть там, когда не имеешь
привычки подолгу смотреть в одну точку).

Но я наловчился и, знаешь, я вижу
как старый лудильщик гремит в сковородку,
а дальше по улице кто-то на русском
кричит непечатное, ребе бородкой
щекочет супруге табу и как тусклое
ноябрьское солнце оплавило крыши...

Фантазии? Что ты! Фантазии разве
настолько предметны, что видишь как мимо
(я мог бы рукою коснуться и даже
спросить «как дела») проскользнула, как праздник,
Она?.. Не заметив моей пантомимы.
И наскоро стала лишь частью пейзажа.

[16 ноября 2000 г.]



Неевклидова геометрия по Михаилу Булгакова

Лидия Марковна ЯНОВСКАЯ —
кандидат филологических
наук, писатель, текстолог, автор
первой в СССР книги о
М. Булгакове «Творческий путь
Михаила Булгакова» (М., 1983),
книг «Почему вы пишете
смешно? Об И. Ильфе и
Е. Петрове, их жизни и их
юморе» (М., 1963, 1969),
«Записки о Михаиле
Булгакове» (Тель-Авив, 1997)
и др., множества очерков,
разысканий, исследований
в различных периодических
изданиях. Осуществила
текстологическую подготовку
«Записных книжек» И. Ильфа
(М., 1961), киевского
двухтомника сочинений
М. Булгакова (1989), «Мастера
и Маргариты» в московском
Собрании сочинений (1990),
«Дневника Елены Булгаковой»
(М., 1990).
Бывшая киевлянка, бывшая
харьковчанка. С 1992 живёт
в г. Лоде (Израиль).

Неевклидова геометрия по Михаилу Булгакову*

Из новой книги

*

**Публикуется
в авторской
орфографии.
Содействие в
публикации и
библиографич.
маргиналия на
С. 057 —
М. М. Красиков
(прим. ред.).**

**

**Яновская Л.
Треугольник
Воланда. —
К: Либідь, 1992
(здесь и далее —
кроме оговоренных
случаев —
примечания
автора).**

**Булгаков М.
Собрание
сочинений: в 5 т. —
М.: Художественная
литература, 1990. —
Т. 5: Мастер и
Маргарита /
подготовка текста
Л. Яновской.**

**«Дневник Елены
Булгаковой»
(составление,
текстологическая
подготовка и
комментарий
В. Лосева и
Л. Яновской;
вступительная
статья Л. Яновской).
— М.: Книжная
палата, 1990.**

048

В 1989–1990 годах я написала маленькую книжку с несколько геометрическим названием: «Треугольник Воланда»**.

Я как раз заканчивала тогда огромную, счастливую и невероятно трудную работу: готовила текст романа «Мастер и Маргарита» для Собрания сочинений Михаила Булгакова***. Не комментарий, а самый текст, бесконечно засорённый и заредактированный предыдущими издателями и вот теперь выверенный мною по всем сохранившимся рукописям и уцелевшим спискам романа. А параллельно, без раздыху и оглядки, и тоже в печать — дневники и воспоминания Елены Сергеевны Булгаковой****. На этот раз — с обстоятельным комментарием, хронологическим и фактографическим.

И вот в этой перенасыщенной, двуплановой работе текстолога и биографа у меня на глазах, словно сама собою, стала раскрываться история великого романа. История работы художника над его созданием. Движение замысла и история текста. Соблазнительные тайны сквозных мотивов и тайны рождающихся где-то в подтекстах образов и намёков. Перепутанные тетради складывались в редакции, давние догадки становились быть догадками и становились явью...

А когда в обеих работах уже был виден просвет завершения (и Собранию сочинений Михаила Булгакова, и «Дневнику Елены Булгаковой» предстояло выйти в свет в самом конце 1990 года), мне позвонили из Киева. Издательство при Киевском университете — так, несколько неловко, называлось оно в тот момент — настойчиво просило написать для них книгу... о загадках и тайнах романа «Мастер и Маргарита»! Популярность Булгакова на Украине нарастала: роман собирались ввести в школьные программы.

Я устала тогда немыслимо, а ещё предстояли тяжёлые корректуры — и романа, и книги дневников, и лучше всего было бы пожалеть себя и отказаться... Но мне предлагали написать книгу о том самом, что сейчас впервые раскрывалось передо мной... И было ещё одно обстоятельство, буквально гипнотизировавшее меня: то, что звонили из Киевского университета.

Этот университет я окончила в 1949 году. В тот самый шабаш 1949 года, когда газеты — а газеты читали, газетам внимали! — истекали безумием антисемитских речей. Мне было тогда двадцать два года, и казалось, что с мира содрали кожу.

Университетские профессора на глазах у студентов топили друг друга. Одни открыто, пускаясь во все тяжкие. Другие — осторожнее, только на закрытых собраниях, и не письменно, а устно, чтобы можно было потом отмыться.

Студентов — вчерашних фронтовиков — вызывали в партком. Бледнея от унижения, они тем не менее подписывали доносы — на преподавателей и однокурсников. Под ударом была их стипендия, место в общежитии, будущая аспирантура...

Евреев-преподавателей снимали с работы. Распоряжения о евреях-студентах ждали. Симпатичнейший заместитель декана входил в аудиторию, просматривал список студентов, поднимал глаза, взглядываясь в отдельные лица, и тихо, но веско говорил, что кое-кого, особенно из отличников, придётся исключить — непосредственно перед государственными экзаменами...

А в актовом зале с трибуны кричали хрипло и злобно. И — ударом хлыста по лицу, рубцом на лице — оставалась в памяти фраза: «грязный выродок Эдуард Багрицкий»...

Чёрно-красное здание университета было только что отстроено после войны, мы ещё почти не учились в нем, и актовый зал был сыроват... Русский поэт, еврей по национальности, Эдуард Багрицкий к тому времени давно умер... Почему так поражала эта фраза? Она была не гаже и не грубее всего прочего. А вот запомнилась эта. И многие годы потом мне казалось, что она просачивается сквозь багровые стены здания, каплет с чёрных капителей колонн, и я не могла ходить мимо этого здания и этих колонн, и уж если никак нельзя было миновать улицу, старалась идти по другой стороне...

...В тот год я написала свою первую литературную работу — студенческую дипломную работу о сочинениях Ильфа и Петрова. И — такое совпадение! — в феврале 1949 года, в «Правде» (или в другой официальной газете? Впрочем, тогда газеты были только официальные), появилась так называемая «редакционная статья», никем не подписанная и, следовательно, правительенная, объявившая, что издание романов Ильфа и Петрова — ошибка.

Это был приговор, не подлежащий обжалованию. Ильф изымался из литературы — ввиду его еврейской национальности. Евгений Петров — с некоторым вздохом и сожалением — как русский писатель, пошедший на поводу...

Два отнюдь не равновеликих события — очередное изъятие классиков из литературы и моё скромное и, как я и тогда понимала, очень слабое сочинение — может быть, так и не совместились бы. Но на мою беду именно в этот момент известнейший академик и звезда украинского литературоведения Александр Белецкий вдруг презрел самый страшный порок, каковым, как известно, является трусость, и, нимало не посоветовавшись в парткоме, написал громоподобную рецензию на мою работу.

Бесстрашный академик писал, что это выдающееся сочинение. По крайней мере на фоне прочитанных им то ли за год, то ли за несколько лет, то ли даже за всю жизнь студенческих работ. (К сожалению, не могу процитировать точнее: я потом с наслаждением уничтожила выданный мне экземпляр; но копия, вероятно, осталась в архиве университета, а может быть, и в архиве почтенного академика.)

Надо сказать, что досточтимый академик ничем особенно не рисковал, не свою, а мою голову укладывая под топор. Правда, его вызвали в партком, сделали замечание, разъяснили, в каких случаях следует и в каких не следует проявлять самостоятельность без спросу. И судя по тому, что в дальнейшем его карьера развивалась успешно, думаю, он более не совершил столь опрометчивых поступков.

Мне пришлось хуже. Теперь уже моё имя выкрикивали с трибуны хриплые и злобные голоса в актовом зале чёрно-красного здания. А за 1949 годом, как помнит читатель, последовали годы 1950, 1951, 1952 и начало 1953-го, и было много такого, о чём в последующие четыре десятилетия я старалась не помнить, потому что жизнь стоила того, чтобы жить, а мерзость и унижения тех лет оставались грузом, с которым жить не хотелось. Хотя...

...Вероятно, и ныне в Киеве, на безмолвной и важной площади у верхней террасы Владимирской горки, высится многооконное и тоже безмолвное, важное здание. Всякий раз, когда мне случалось проходить по краю площади — разумеется, по удалённому от здания краю площади — я приостанавливалась и с кратким любопытством взглярывала в дальние окна верхних этажей. Там была тайна, и я была посвящена в эту тайну.



**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

049



Где-то там, на высоком этаже, в большом и официальном помещении, я однажды стояла у торца длиннейшего официального стола. (В этих случаях всегда стояла — сесть не предлагали.) По периметру — по обеим сторонам стола и там, у дальнего другого конца, — сидели массивные мужчины, затянутые в тугие галстуки и добротные пиджаки. Мне предстояло врать. Терпеливый референт, бившийся со мною в течение получаса, уже научил меня, как и что я должна была врать, чтобы эти мужчины, проявив благосклонность, простили меня и закрыли «дело», и в его комнатке я уже повторяла за ним это дурацкое покаянное вранье, почти не сбиваясь.

И вот я открыла рот, чтобы послушно повторить выученные фразы. И... это оказалось невозможно — врать в присутствии стольких взрослых дядей. Я вздохнула и сказала... Чёрт его знает, что я сказала! Никогда потом не могла вспомнить, что я им сказала... Ярость электрической искрой обежала по периметру стола. Вскочили все разом и разом же закричали оглушающими, откомленными, хорошо поставленными голосами. Что это было — мгновенный обморок? головокружение? или потрясающий момент истины? Я увидела... Клянусь, я совершенно ясно увидела, как, взметнувшись, развязались галстуки и слетели, взвившись, пиджаки. Огромные, косматые, покрытые густой чёрной шерстью обезьяны вскочили на свои стулья, потом на стол... Они прыгали всеми четырьмя лапами по столешнице, громко, все вместе кричали, и чёрные косматые обезьяны хвосты метались, свиваясь и развиваясь, над ними...

Это длилось минуту. Я стояла, оглушённая визгливым криком и мельканием страшных туш. Потом всё прекратилось так же мгновенно. Все вдруг замолчали, спрыгнули на свои места. Сами собою наделись пиджаки и, взметнувшись, завязались галстуки. Стало тихо. Мне разрешили уйти.

У выхода на улицу я помедлила и вопросительно посмотрела в лицо дежурному милиционеру. Он ответил ясным и тоже вопросительным взглядом. Помнится, меня поразило: он был совершенно нормален.

На пустынной площади стоял странный звон. И было совершенно неважно, что со мной будет дальше. Главное, теперь я знала о них все.

Впрочем, может быть, не я одна знала это?

Прошло несколько лет, время переломилось, и граждане как-то сразу забыли и удущливую атмосферу тех лет и даже то, что Ильф и Петров какое-то время были запрещены и что за бедное студенческое сочинение, написанное по предложенной теме и одобренное знаменитым академиком, могли запросто сломать чей-то позвоночник и чью-то жизнь. В безмолвных и важных зданиях обо мне забыли, и я не стремилась о себе напоминать.

Но я больше не любила этот город, в котором родилась и выросла. Я больше не любила этот город — с его весенним запахом цветущих акаций, золотым летом в парках и на Днепре и тёплыми, снежными зимами. Я не хотела в нём жить и вскоре уехала из него.

С Киевом — через много лет — меня помирял Булгаков. Впрочем, он ведь тоже любил этот город на расстоянии. Может быть, родину и любят на расстоянии? Не случайно же Николай Васильевич Гоголь писал свои «Мёртвые души» в Италии...

Теперь это был не только мой — это был его город. Город его детства и его юности. И вместе с тем город моего детства, пришедшегося всего лишь на тридцать пять лет позже булгаковского. Я училась в двух квартирах от его гимназии — тридцать пять лет спустя, но в таком же прекрасном, надёжном здании: моя школа занимала помещение бывшей женской, Фундуклеевской, гимназии, и в ней была так же торжествен-

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

050

на парадная лестница с белыми мраморными ступенями, и так же гулки темноватые коридоры, и спокойны большие классы...

Все той же в пору моего детства была Владимирская горка, которую так любил Булгаков. «Мы в зелени, — писал он брату, посыпая свою и Елены Сергеевны фотографию. — Это зелень моей родины. Это мы в Киеве, на Владимирской горке, в августе 34 года»*. «Какой чудесный Киев — яркий, радостный, — записывала Елена Сергеевна в своём дневнике три года спустя, вернувшись из поездки с Булгаковым на юг. — ...Мы были там несколько часов, поднимались на Владимирскую горку, мою любимую»**. И между этими записями и моими детскими прогулками на Владимирскую горку не было даже промежутка во времени...

В полуквартале от дома, в котором я жила, бежала вниз крутейшая Мало-Подвальная улица, огибая высокий многоярусный холм. И полон детских игр был прелестный Золотоворотский сквер; только в глубине его, за развалинами Золотых ворот, очень разрослись деревья («Турбин... двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились, присыпанные снегом в жидким сквере, Золотые ворота». — «Белая гвардия»), и маленький по площади сад в этом месте казался чащей...

И ёщё в том булгаковском и вместе с тем моём городе до великой войны были сады. «И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира» («Белая гвардия»). Старые киевляне знали: писатель имел в виду не только огромные парки, но и эти тайные, таинственные, многоярусные сады, укрытые за плотными рядами каменных домов, за скучными мощёными дворами, за какой-нибудь загадочной, запертой только для непосвящённых калиткой в глухой стене... Город строился на холмах, с холмами не воевали, холмы любили и неудобные для застройки перепады уровней превращали в террасы любимых, романтических, тайных садов...

Теперь город упорно и беспощадно перестраивали. Уцелевшие в великой войне старинные, полные смысла и очарования здания сносили — на их место ставили новые, уродливые громады... Оказалось, что поэтические киевские холмы мягки... Без особого труда, бульдозерами, выгрызли и уничтожили кусок Владимирской горки, тот, что спускался к Крещатику... Срезали — как не бывало — воспетый Булгаковым в «Белой гвардии» «белый, сказочный, многоярусный сад» между Мало-Подвальной и Прорезной. У подножия сада, на крутой Мало-Подвальной, ещё долго был виден небольшой разрушенный дом с обнажённой, оклеенной синенькими обоями внутренней стенкой; может быть, тот самый, в котором в 1918 году жил любимый друг Михаила Булгакова Николай Сынгаевский. А потом и эти обломки исчезли. В огромной и тесной яме, зиявшей теперь на месте холма, построили что-то многоэтажно-гебешное, с охраной у входа. И популярнейший в Киеве литератор и булгаковед Мирон Петровский под аплодисменты читающей публики объявил***, что никогда и не было сказочного многоярусного сада, что его не могло быть, что это противоречило бы законам физики!

И Золотоворотский сквер, маленькое чудо садовой архитектуры старого Киева, тоже почти уничтожили — погребли под тяжелой реконструкцией якобы подлинно-исторических Золотых ворот... Впрочем, может быть, популярнейший булгаковед скажет, что и этот сквер противоречил законам физики и приснился одновременно  Михаилу Булгакову и мне...

А сквозь разрушения всё равно просвечивал город начала века — булгаковский Город. Я научилась видеть, я училась слышать его. Время становилось прозрачным, и для меня по-прежнему сверкали купола давно уничтоженных бесчисленных церквей, и было совсем нетрудно

*

Письмо

М. Булгакова брату
// Булгаков М.
Дневник. Письма.
М.: Современный
писатель, 1997. —
С. 372.

**

«Дневник Елены
Булгаковой». —
С. 162.

Петровский М.
// Театр. — 1991. —
№5. — С. 15.



Sic?

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**



представить, как плывёт над городом в праздники густой колокольный звон... Исчезали серые асфальтовые поля; рабочие, стучав кувалдами, мостили улицы: укладывали гранитную брусчатку то дугообразным, то шахматным продуманным узором, подбирали цвет к цвету, на Фундуклеевской — сиренево-розовую, на Прорезной — скромнее, синеватую... Не было ещё важного здания на безмолвной площади у верхней террасы Владимирской горки, и самой площади не было... И мягкий сентябрьский киевский воздух ещё не был пропорот навсегда пулями Бабьего Яра...

Был мир? Была тишина? Не было мира и тишины. Это всегда был тревожный, трагический, страшный город, при всей его неувядающей красоте...

Воображаемый и всё-таки совершенно реальный, он теперь был полон для меня присутствием Михаила Булгакова, звуком его шагов, ушедшей и всё-таки сохранившейся жизнью его друзей, смехом прекрасных юных женщин, в которых он был влюблён, вечным бытием его героев. И уже не приводили в отчаяние красный и чёрный цвета университета: это был его университет.

Теперь, проходя вдоль здания с колоннами, я останавливалась, подымала голову, искала глазами окна актового зала: здесь в 1905 году громоздились студенческие головы; забаррикадировавшись и распахнув окна, студенты дерзко пели — на улицу — революционные песни... Смотрела на вход, представляла себе, как в том же 1905-м здесь толпились гимназисты находившейся неподалеку Первой мужской гимназии. Размышляла, был ли в этой толпе — был, конечно, не зря же был лишён в том учебном году оценки по поведению — ученик пятого класса, четырнадцатилетний Булгаков Михаил... И видела совершенно явственно — уже год 1913-й или 1914-й — как проходит в тяжёлые парадные двери стремительной лёгкой походкой, чуть приподнявая на ходу левое плечо, студент Михаил Булгаков... Останавливались прохожие, пытаясь понять, что я там рассматриваю. Собиралась небольшая толпа...

Внутрь не входила: оттуда по-прежнему тянуло могильным склепом. Может быть, здание, разрушенное и восстановленное после войны, так и осталось сырьеватым...

Письмо издавательства «при Киевском университете» было потрясением. Оноказалось знаком судьбы. В голове отчаянным берлиозовым «Неужели?...» вертелась фраза Воланда: «Сами предложат и сами всё дадут»... Жизнь — невероятный драматург — строила кольцевое завершение сюжета.

В течение года я написала эту небольшую книжку об истории и тайнах романа «Мастер и Маргарита». Небольшую — поскольку издавательство спешило выпустить её в самый короткий срок, к булгаковскому юбилею в мае 1991 года.

К булгаковскому юбилею книжка не вышла. И вообще в 1991 году не вышла. Она была издана в самом конце 1992 года, о чём я узнала в середине 1993-го, уже после того, как в моей жизни многое самым неожиданным образом переменилось, и я оказалась в эмиграции, и вместе с полным освобождением от надёжного и прочного быта пришло короткое ощущение свободы горла. Жизнь — парадоксальный драматург. У неё, как у Михаила Булгакова, неэвклидова геометрия.

А тогда приближался май, и я не помышляла об эмиграции. В мире назревали булгаковские торжества, моему герою исполнялось сто лет, и почта приносила пригласительные письма. Например, из английского города Ноттингема.

Ноттингемцы, земляки Робин Гуда, любезно спрашивали, в каком профсоюзе я состою, дабы через этот профсоюз направить мне офици-

альное приглашение, дабы профсоюз в свою очередь получил бы лестную возможность оплатить мне поездку в Англию, а расходы по прокорпу меня в Англии, помня о бедности российских литераторов, гостеприимные ноттингемцы возьмут на себя.

Не поехала я на родину славного Робин Гуда. И не потому, что, к удивлению английских коллег, не была членом профсоюза и, в отличие от официальных булгаковедов, за все свои поездки платила сама. Проссто свои проблемы лучше решать дома.

Я поехала в Москву и в Киев.

Главное — в Киев. С тем же, уже испытаным однажды чувством кольцующихся сюжетов судьбы. На этот раз на приглашении, полученном мною, значилось не «издательство при...», а просто и ясно: Киевский университет. Меня приглашала кафедра русской литературы.

Но сначала всё-таки была Москва.

Впервые в жизни я попала в знаменитый Колонный зал. Как всегда, билетёрша, скользнув взглядом, почтительно пропустила моего мужа, а потом долго и придирчиво рассматривала мой билет, переводя взгляд с билета на меня и обратно. Сверкающий зал был полон нарядной, самоуверенной публики, и мы, наверно, не нашли бы места, если бы не близкие Елены Сергеевны Булгаковой, выловившие нас, несколько растерянных, в толпе и поместившие рядом с собою, в ложе. И опять билетёрша, уже другая, несколько раз озабоченно заглядывала в ложу, подозрительно посматривая на меня. Удивительно, как безошибочно они определяли во мне неприобщённую, «чужую».

Над парадной сценой висел огромный булгаковский портрет, ужасно непохоже перерисованный с известной фотокарточки. В президиуме, в ослепительном блеске бесчисленных люстр, — лица, которые до того я могла увидеть только по телевизору. Горбачёва, правда, не было. Его заменила очаровательная супруга. Зато самолично — спикер парламента Анатолий Лукьянов. Министр культуры, красавец Николай Губенко. Выдающиеся советские писатели и руководители Союза писателей... («Холод, дождь и ветер сведут меня в могилу. Единственно, что может спасти, это святая ненависть к Союзу писателей...») — писала мне в горькую минуту и в плохую погоду Елена Сергеевна. Нет-нет, Елена Сергеевна, сегодня — праздник, всепрощение, взаимная благожелательность и мир.)

Произносились речи. Я вздрагивала и вжимала голову в плечи: с торжественной трибуны звучало моё имя. В перерыве у края ложи возник высокий молодой человек с моей книгой в руках: надпишите, пожалуйста... От неожиданности я спросила его фамилию. Совершенно незнакомая фамилия! Но за ним уже надвигался другой — кажется, с журнальной статьей... Вокруг вдруг застучало: кто? кто? где? — и, пересекая толпу, валившую в буфет, к краю ложи устремились какие-то мужчины и женщины с белевшими в руках пригласительными билетами. Выстроилась очередь.

Всегда вспоминаю, как раздавала автографы замечательная женщина — Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова, вторая жена писателя. На каком-то булгаковском вечере в Москве — тогда эти вечера были не часты — она, очень старенькая, но в модной кепочке, сидела в президиуме (учила меня: непременно сидите, вам будет легче и все будут довольны) и, не торопясь, но и никого не пропуская, с улыбкой что-то надписывала на протягиваемых ей программках, билетах и просто листках бумаги. Девушки и юноши отходили, останавливались, внимательно читали написанное; я попросила показать мне надпись — одну, другую, третью... Это были совершенно разные надписи, каждому что-нибудь



Sic!



Господи, как дети
малые... Ну что
«sic»?!



Да так, слова
знакомые увидел...



Увидел, увидел...
Гляди, выйдет по
писаному! И
вообще, дорогой
читатель, если бы
ты знал, как меня
утомили резвые
средакторы,
которых похвалой
не корми, дай
только что-нибудь
«прокомментиро-
вать»...



(х о р о м)
А сам-то?!



(с п о к о й н о)
Квод лицет!

**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

053



**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

054

иное — приветливое пожелание, любезность, афоризм — и неизменно её полная, разборчивая подпись: Любовь Белозерская-Булгакова...

Увы, такое творчество мне было не по силам. Я расписывалась, стараясь, чтобы было хоть на что-то похоже. Через несколько минут стали сливаться буквы. Потом заболела рука. Потом плечо. Из открытых дверей соблазнительно и слабо тянуло запахом кофе, а нам предстояло прямо с праздника на вокзал... Когда возник небольшой просвет и очередь у барьера как будто закончилась, а другие граждане с билетиками были на подходе, муж выдернул меня в глубину ложи и мы побежали в уже иссякающий, гаснущий, закрывающийся буфет. Никто за нами не спешил. Подозреваю, что это вообще не были мои читатели. Просто — если что-то дают, ну, автографы хотя бы, нужно брать...

Было поразительное чувство спектакля, в который я попала по ошибке, и догадка, что у этого спектакля будет неприятное продолжение. (Впрочем, мы ведь всегда знаем, что с нами будет, не так ли? Проссто чаще всего не хотим это знать и, переступая через знание своей судьбы, продолжаем действовать в блаженном неведении.)

А утром подъезжали к Киеву, я не слушала радио и не ведала, что вчерашний вечер транслируется в записи на всю страну, и снова высказывает моё непредусмотренное имя, оскорбляя слух официальных, прошедших проверку и утверждение в надлежащих инстанциях, булгаковедов. Это были издержки новенькой, ещё не обмятой гласности: все было распланировано и рассчитано, но речи выступающих уже не просматривали, это были устные речи, а контролировать ненаписанные речи те, кто создавал общественное мнение в России, ещё не научились. Возникла накладка.

Киев встретил знакомой с детства, сладостной весной, и всё обещало чувство дома и праздник. И симпатичный молодой аспирант, преданно подхвативший наши вещи. И предупредительно заказанная гостиница на Владимирской — прямо против начинающейся здесь и от этой точки бегущей вниз Мало-Подвалкой; восхитительно старая, хотя и не очень удобная, времён булгаковской юности гостиница. Отсюда город, весь, был в пешей доступности: он ведь совсем не велик по площади — старый, исхоженный Булгаковым вдоль и поперёк Киев... Правда, платить за гостиницу пришлось нам самим: в отличие от ноттингемцев, киевляне не имели денег даже на это.

И снова соблазнительно замыкала кольца своих сюжетов судьба. Торжественная научная конференция, посвящённая столетию Михаила Булгакова, происходила в актовом зале. Нет, не в том, сырватом и страшном, — в том я так и не побывала более никогда. Филологический факультет теперь занимал прекрасное, вечное здание на бульваре. То самое, в котором когда-то помещалась Первая киевская мужская гимназия, позже названная Александровской, гимназия, в которой в 1901—1909 годах учился Михаил Булгаков и которую закончили некоторое время спустя его младшие братья Николай и Иван.

Это здание Булгаков так тепло описал в «Белой гвардии»: «Столово-мидестиооконным, четырёхэтажным громадным покоям окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провёл Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. Восемь лет расстил и учил кирпичный покой Турбина и младших — Карася и Мышилевского».

Впрочем, это взгляд на здание гимназии не с бульвара, а по-домашнему, с тыла...

Но... «не бывает так, чтобы всё стало, как было»*. Давно уничтожен занимавший целый квартал гимназический сад. И вот, оказывается, плаца позади гимназии тоже больше нет. На его месте воздвигнуто уродливое здание столовой. Что делать! Студентам нужна столовая, и здание, уродливое снаружи, весьма удобно внутри. Узкое пространство, зажатое между «четырёхэтажным громадным покоем» и этой новой, громоздкой столовой — уже не плац, а дурно пахнущий, захламлённый, тесный двор, по нему никто не станет бегать в весенние перемены, и выходившее сюда, на плац и к саду, крыльцо сбито, а лишённая ступенек и повисшая на загадочной высоте дверь заколочена...

Но по-прежнему сумрачны и таинственны бесконечные коридоры. Всё так же торжественна парадная лестница. Хотя... хорошо помню по фотографиям: ступени её были беломраморные, струилась ковровая дорожка, прихваченная металлическим прутом на каждой ступеньке, а посреди ковровой, оберегая её, шла другая, поуже, аккуратная и строгая — холщёвая. На деревянных перилах были поручни — узкий чехол из шерстяного плюша (красный, вероятно? или бордовый?), украшенный золотыми обойными гвоздиками, бахромой и кистями. А где-то в кладовой хранились такие же узкие холщёвые поручни, которые можно было надевать в будни, чтобы не протирался зря красивый тёмно-красный плюш...

Теперь у лестницы были металлические ступени, старые ступени, чугунного литья, вероятно, перенесённые с каких-то других лестничных маршей этого самого здания, и никаких поручней, с кистями или без, конечно, не предполагалось.

Актовый зал («необъятный двусветный актовый зал» «Белой гвардии») был переполнен учёной публикой. На краю сцены сидели, в открытых дверях толпились студенты. И в примыкавших к залу коридорах и на лестничной площадке, куда были вынесены репродукторы, тоже стояла и сидела где попало радостная толпа.

Мне предложили самое почётное место. Я удивилась и даже несколько попятилась от неожиданности. И вдруг поняла, что я — дома, что все мытарства кончились и это и есть мое место.

Юрий Кривоносов поставил рядом со мною на бордюре, на возвышении, столе, прислонив к парадному букету, недавно найденный им и им же к этому торжественному событию реставрированный фотопортрет Булгакова. Портрет представлялся впервые — ещё без даты (потом установит дату: 1927 год), ещё — «автор неизвестен» (потом установит авторство: фото Б. Шапошникова). Тени играли на булгаковском лице, что-то скрадывая и на что-то намекая; светлые глаза были сосредоточенны, и правый, сквозь круглое стеклышко, служившее моноклем, казалось, сверлил любого до дна души и вместе с тем знал что-то о входе в бездонный колодец всякой тьмы и теней... С этого момента — один из самых популярных фотопортретов Михаила Булгакова.

Ну где ещё, в каком другом месте я могла бы чувствовать себя настолько дома? Справа от меня штиль с портрета и загадочно смотрел в зал всегда неожиданный Булгаков. Слева, под моей ладонью — я то и дело касаюсь его как талисмана — только что полученный в Москве том: подлинный, максимально авторский (насколько мне это удалось) текст романа «Мастер и Маргарита». А передо мной зал, полный внимательных, ясных, сочувствующе-заинтересованных лиц, и все эти лица — как почти всегда, когда смотришь в зал, — кажутся добрыми, умными и заслуживающими любви.

Мне так редко приходилось смотреть в зал.

Сколько у меня было выступлений о Булгакове за двадцать девять

*

**«...не бывает так,
чтобы всё стало, как
было» — это из
«Мастера и
Маргариты».**

**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

*
**О пропажах в
булгаковском
архиве я впервые
заявила публично в
конце 1988 г.
Потом —
конкретно: в
примечаниях к изд.
Булгаков М.
Избранные
произведения в
2 т. — К: Дніпро,
1989. — Т. 1 — о
пропажах в «Белой
гвардии»; в
предисловии к
«Дневнику Елены
Булгаковой» —
о пропажах
дневников; в
текстологическом
комментарии к
худлитовскому
Собранию
сочинений (Т. 5,
С. 667) — о
пропажах в
рукописях
«Мастера»; в
хорошо известном
булгаковедам
бюллетене Северо-
Американского
Булгаковского
общества (1995) —
о том же; ну, и в
«Записках о
Михаиле
Булгакове» — о
пропажах
принадлежавших
Булгакову книг.
Никаких
конкретных
возражений не
было.**

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

056

лет изучения Булгакова? Пожалуй, можно пересчитать по пальцам, и одной руки для этого хватит. Два выступления в Харькове — оба раза в маленькой аудитории. Один раз в Ленинграде, пышно, в зале Союза писателей, на Булгаковских чтениях 1986 года... Правда, потом булгаковеды печатно утверждали, что никакого-такого моего выступления там не было. Не было — и всё тут! Хотя сохранились и фотографии, и магнитофонная запись, запечатлевшая мой пятидесятиминутный доклад о пьесе Булгакова «Адам и Ева» — об истории пьесы, её идее и о том, что единственный известный присутствующим её текст — изданный на Западе — жестоко изуродован и весьма далёк от авторского.

В той магнитофонной записи слышны реплики ведущего, вдруг начавшего нервно перебивать доклад, и крики из зала: «Не мешайте! Хотим слушать!», и неожиданные — посреди моей фразы — жиденькие, но упорные аплодисменты. Это почтеннейший профессор-булгаковед начинает «захлопывание» доклада... Профессор, а главное — кто-то ещё в зале, кого так хорошо видят дёргающийся ведущий, полагают, что вот-вот, сейчас, именно к концу доклада я скажу нечто недопустимое, срывая покровы с тайн... Они ошибаются: я ничего не знаю об их тайнах. ещё целый год я не буду знать того, что известно им: что булгаковский архив разграблен в государственных хранилищах». И ещё годы — годы! — буду простодушно не понимать, что это гебешники отправляли тексты Булгакова на Запад ещё при жизни его вдовы, Елены Сергеевны, в обход её авторских прав — плевали они на её авторские права! — чтобы не допустить публикацию этих сочинений в России. (Для тех, у кого короткая память: произведение российского автора, впервые опубликованное за рубежом, автоматически становилось запретным для публикации в отечестве.)

Ничего этого я не знала, и, следовательно, ничего этого не могло быть в моем вполне академическом, так и не дочитанном до конца и так никогда и не опубликованном докладе 1986 года. Впрочем, мимо, мимо...

Четвёртое выступление состоялось в Москве как раз накануне торжественного заседания в Колонном зале. Это было в Институте мировой литературы (ИМЛИ). Там тоже была научная конференция, и магнитофонная запись моего отчаянного (ощущение — голова на плаху) выступления сохранилась: «...Суэта и рвачество вокруг имени Михаила Булгакова начались ещё при жизни Елены Сергеевны...» (Приводятся её записи... Сентябрь 1967 года: «У меня неприятный осадок в душе, что все набросились на Булгакова... лакомый кусок!» Ноябрь 1969-го: «Ночью я себя чувствовала ужасно, у меня поднималась кровь от яростной мысли, что Миша двенадцать лет работал, вынашивая эту потрясающую вещь, а теперь все, кому не лень, лезут своими лапами, хотят захватить все эти барыши, которые им мерещатся».) «И весь этот кошмар, — запечатлел магнитофон мой срывающийся голос, — суэта, рвачество, безобразные издания текстов — не только продолжается, но нарастает...»

Речь шла о разграбленном архиве*... О текстах сочинений писателя, небрежно изуродованных, полных искажений — из издания в издание, даже в Собрании сочинений... О запруженной домыслами биографии... Теперь, к маю 1991 года, уже многое было ясно, и в полупустом зале ИМЛИ, огорчаясь, что аудитория так мала, я спешила сказать, сказать, сказать... И называла имена, произносить которые было не-безопасно...

И вот я смотрела в глаза аудитории в пятый раз. 17 мая 1991 года. В актовом зале Киевской Александровской гимназии. В том самом зале, где много лет тому назад очень юный, светловолосый, светлоглазый и от этого казавшийся ещё моложе, сдавал свои выпускные экзамены Миха-

ил Булгаков, а ещё раньше бывали школьные балы (на одной из фотографий в углу зала — рояль).

Безусловно, это был тот же зал. Те же большие окна на бульвар с университетом в перспективе. Те же высокие двери. И в противоположных, дальних, торцовых стенах удлинённого зала — от входа налево и направо — по две красивые, но праздные, светящиеся белизною классические колонны, а над каждой парой колонн, объединяя их в нечто целое, — такой же праздный, хотя и не лишённый изящества, сияющий белизною циркульный полукруг...

Тогда — когда Михаил Булгаков сдавал здесь свои выпускные экзамены — в полукругах над колоннами были сложные барельефы с какими-то символическими предметами и длинногоними и, кажется, даже крылатыми фигурами в туниках. И классические колонны не были бесполезным украшением слепых стен: вместе с венчавшими их барельефами они образовывали подобие портиков в концах зала — в левой стене и в стене правой, гостеприимно помечая проходы в другие, тоже строгие и важные помещения. Просматривалась анфилада, актовый зал казался ещё просторней, а его паркетная площадь — бесконечной... («В актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины». — «Белая гвардия».)

Я смотрела в зал, через зал, и дальняя стена за спинами слушателей не была для меня слепой... две свободно круглившиеся колонны помечали проход в библиотеку... там был стол с тяжёлой парадной скатертью, высокие застеклённые шкафы, белые бюсты мыслителей на них...

Вообще говоря, в гимназии, где-то в другом месте, имелась огромная фундаментальная библиотека, которой пользовались учителя. (Потом она стала составной частью библиотеки Академии наук Украины, и уже там мне нередко попадались книги с штампом Киевской Первой мужской гимназии; прекрасный источник для исследователей, которые по желали бы определить круг научных интересов булгаковских учителей.)

А здесь, за колоннами, была библиотека для гимназистов, и инспектор Бодянский, в чуть лоснящемся на толстом животе мундире, выдавал младшеклассникам книжки. Может быть, тут, из его рук, гимназист Булгаков Михаил получил впервые «Саардамского плотника» — повесть о Петре Первом, сочинённую специально для детей ещё в середине XIX века Петром Романовичем Фурманом. А потом эту же книжку принёс домой Булгаков Николай. А потом младший — Булгаков Иван...

Я хорошо знаю: у Бодянского добреши глаза на простодушной физиономии; но малыши побаиваются его грозного голоса, и если даже «Саардамский плотник», подаренный мамой, давно имеется дома, всё равно берут из рук строгого учителя книгу, чтобы прочитать её ещё раз. («Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский плотник»...» — «Белая гвардия».)

И может быть, отсюда Михаил Булгаков впервые унёс домой «Капитанскую дочку», ту самую, которую в «Белой гвардии» называет просто Капитанской дочкой, без кавычек. А потом — «Войну и мир» с Наташей Ростовой... ☺

...У высокой кафедры — несколько спиною ко мне — сменяют друг друга исследователи и просто любители. Киевляне, москвичи, зарубежные гости. Они читают свои очень важные, заранее написанные сообщения, чинно и внимательно глядя в текст. Невероятно, но, по-моему, они не замечают, где они находятся.

У меня тоже отмеренное — в очередь с другими — время для научного сообщения. Мне не хочется нарушать праздничную торжествен-

>>(С. 056)

См. подробнее:

Я н о в с к а я Л.
Открытое письмо
в «Литературную
газету». Несколько
документов из
прошлого (ответы
на вопросы**Бюллетеня Северо-**
Американского**Булгаковского**
общества) //**Я н о в с к а я Л.**
Записки о Михаиле
Булгакове (Тель-**Авив, 1997). —****С. 420–450;****Красиков М.****Предисловие к****публикации письма**
Л. Яновской в
«Литературную
газету» // Круг. —**Харьков. — 1995. —****№1, — С. 16;****о н ж е:****«И работы мои...**
всё равно**просочатся»****(О Лидии Яновской**
и её новой книге)**// Русская****филология.****Украинский****вестник. — 2000. —****№1–2. — С. 66–67.****А что, есть «Война и**
мир» без Наташи
Ростовой?**См., что я сказал**
на С. 053.**Неэвклидова**
геометрия
по Михаилу
Булгакову



ность заседания, и я не буду сегодня говорить ничего из того, что так отчаянно выкладывала четыре дня тому назад в полупустом конференц-зале Института мировой литературы. Мало ли на свете добрых и радостных тем...

Но смотреть в тетрадку, не подымая глаз, здесь, где так тонка, так легко рвётся пелена времени... Всё-таки я должна была сделать одну вещь, и это оказалось совсем просто: движением руки убрать помост-сцену вместе с безбрежным и официальным столом... тогда не было помоста-сцены на плоской паркетной равнине... высокую кафедру... густо заполняющие зал академические столики-стулики... слепую стену, за-крывающую проход в библиотеку...

Небольшой стол экзаменационной комиссии стоял вот здесь, в про-стенке между двумя окнами. Свободно разбросанные столы, за которыми мальчики пишут свои письменные работы... А может быть, экзамен был устным?..

Тени сгущались, судьба замыкала свои кольцающиеся сюжеты, в пустынном, торжественном зале беленький, почти белёсый мальчик снова сдавал свои выпускные экзамены. И начинало казаться, что это мы — тени. А школьный зал, бородатые учителя в мундирах и белоку-рый мальчик с серьёзным и очаровательно обычновенным лицом — ре-альность.

Сколько времени это заняло? Минуту? Полторы?

И была ещё одна вещь, которая стояла у меня в горле и которую я должна была высвободить ещё прежде, чем состоялось это почти фи-зическое прикосновение к детству моего героя. Потому что и другой временной слой, не менее реальный и зримый, жестоко приступал в этом зале.

Я должна была сказать — впервые и вслух — то, о чём молчала все предыдущие сорок лет. Слишком хорошо знала все сорок лет, что госу-дарство, в котором я живу, опасно не прощает своих грехов. Убрала это из жизни — как не было.

Но это было, и чтобы избавиться от этого, нужно было сказать — сей-час и здесь.

Не требовалось никого уличать. Я догадывалась, что в этом зале есть кто-то из тех, кто тогда, в 1949-м, бледнея от унижения и уговари-вая себя, что я всё равно обречена, подписывал в парткоме... Слишком много времени прошло, давно ушла и расточилась обида, теплилась мысль, что ведь этот кто-то мог сделать так, чтобы меня не пригласи-ли. Не сделал...

Не нужно было подробностей. Вряд ли кого-нибудь сейчас могло ин-тересовать, что в 1949 году стена в конце зала уже была слепой и не бы-ло там никакой библиотеки, а был кабинет знаменитого академика, и по-пасть в кабинет можно было только из коридора... Там я с удивлением видела, как старого академика съедает страх. Он сам пригласил меня — на этот час. Но всё время входили какие-то люди, которым было назна-чено на это самое время. Академик был ужасно занят, и я никак не мог-ла поймать его убегающие глаза. Потом поняла: люди будут входить всегда — он боится меня. И, так и не поймав его ускользающие глаза, поднялась и вышла...

И только одна-единственная подробность должна была всё-таки прозвучать. Острыми, не сгладившимися от времени углами царапала надежда, что в этом зале, где-нибудь в последнем ряду, невидимый мне, находится тот районный судья...

Судья тогда сказал: «Если будет суд, я ничего не смогу сделать... Приговор определён: есть договорённость между ректоратом универси-

тета и райкомом партии...» Назвал отмеренный мне ректоратом и райкомом срок заключения: четыре года... Помолчал, поколебался, достал из «дела» бумаги, без которых я не могла уехать, отдал их мне и велел исчезнуть: чем скорее — тем лучше... И я не помню его фамилию!

Не было судьи в зале. Был ли он жив? Поступок опасного благородства, увы, не бывает единичным (как не бывает единственным и последним однажды совершённый поступок предательства). А впереди у этого судьи были ещё четыре года чёрного беззакония. Сколько ещё раз звонили ему от ректора университета или из какого-нибудь другого столь же почтенного места о том, что всё «договорено»? Сколько ещё раз на него орала имеющая право орать дрянь из райкома партии?

Странно, её фамилию я помню. Хотя кого сейчас может интересовать её фамилия? Кто вспомнит, что она жила на свете?

Этот мой пассаж был ещё короче: не исповедь — несколько слов. Не знаю, было ли это важно для публики. Это было важно для меня: судьба кольцевала свои сюжеты и связывались разорванные нити бытия. Это было моим возвращением в университет — примирением с самой собою.

И оставалось ещё довольно времени для научного сообщения. Речь, помнится, шла об открытых мною и уже восстановленных мною украинизмах в «Белой гвардии». Большая часть аудитории знала украинский язык и вполне могла оценить открытие...

В перерыве меня и мужа обступила стайка студенток. Они щебетали, как птицы, звонко и наперебой приглашая куда-то в гости, потом, как птицы же, вдруг разом вспорхнули и умчались, оглядываясь и помахивая ладошками на ходу.

Я сказала: «Боже, какие дети!» И ещё, как в трансе: «Разве можно — таких детей на самоубийство?» — «Какое самоубийство?» — с недоумением обернулся мой муж. А я просто ещё не совсем вышла из прошлого. Подумала, что в 1949 году, когда «дрянь из райкома партии» вызывала меня для конфиденциального разговора, я была в таком же возрасте, как эти девочки, похожие на птиц...

...«Дрянь» была вторым секретарем райкома. Тогда полагалось: второй секретарь райкома, горкома, обкома, кажется, даже центрального комитета республики — непременно женщина. Партия соблюдала демократию и «процент женщин».

К назначенному часу она опаздывала. В маленькой приёмной перед её кабинетом в напряженном молчании сидело несколько мужчин. Наконец, она появилась, наглая и радостная, качнула бедрами, проходя через приёмную, повела плечом с чернобуркой. Лисий хвост метнулся, задевая лица и губы окаменело неподвижных мужчин, и я, с мгновенным отвращением девственницы, тотчас опознала в ней свою антагонистку — шлюху.

Вызвала же она меня затем...

Вызвала она меня (не могу подобрать эвфемизм) затем, чтобы предложить мне самоубийство. Видите ли и собственно говоря, самоубийства в СССР были запрещены. Не только жизнь, но и смерть граждан принадлежали государству, и за самовольный уход подчинённых из жизни с начальства спрашивали беспощадно — как за очень серьёзное упущение по службе. Но тогда стало известно, что «спущено» разрешение на несколько студенческих самоубийств: проскочили — намеренно, разумеется — какие-то намёки в печати.

У каждого времени свое лицо и свой язык. И странно, как невнятны это лицо и этот язык людям даже очень близких, но всё-таки следующих поколений. Государственный язык России на рубеже 40-х и 50-х годов был двуслоен. Эти слои существовали параллельно, не смешива-



**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

059



ясь: верхний, грохочущий, как жесть, язык лозунгов и обязательных формул — и другой, подспудный, истинный, опасный и страшный язык неформулируемых требований и неформулируемых угроз. На языке лозунгов антисемитизм в стране был запрещён. На безмолвном, но понятном всем языке подтекстов евреев-преподавателей снимали с работы. И горе было тому, кто пытался играть в «непонимание» страшного, но подлинного языка страны.

К тому времени я уже прошла свою школу и не играла в «непонимание». С первых же слов мне стало ясно, что на моё самоубийство есть разрешение и остается только подготовить меня и уговорить. Не было диалога: был её монолог. Ставяясь настроиться на доверительные интонации и тем не менее срываюсь на тон весёлый и наглый, дама, представлявшая в партийной демократии «процент женщин», втолковывала мне, что судьба моя всё равно решена (разговор был до непредусмотренного поступка районного судьи) и что будущего у меня нет: это она гарантировала.

Я сидела молча и прямо, вероятно, белея лицом. (О том, что в этих случаях была «бела, как моя блузка», знаю случайно: выйдя после одного из таких «вызовов» — не из этого кабинета в райкоме, а из другого, аналогичного, в университете, где кроме партийно-садистского начальства сидели, участвуя во всей этой мерзости, ещё вчера уважаемые мною мои профессора, — наткнулась на подружку-сокурсницу, почему-то крутившуюся в приёмной. Её глаза от неожиданности стали круглыми, и она зашептала, сгорая от любопытства: «Что там происходит? Ты белая, как твоя блузка!» Любопытство её осталось неудовлетворённым: говорить о том, что происходило за тяжёлой дверью, было запрещено.)

Итак, я хорошо понимала шлюху из райкома, верила, что будущего у меня нет, и, по юной глупости, мне не жаль было своей жизни. Не случайно же юные уходят из жизни так трагически и непоправимо легко. Но уж слишком хорошо было видно, что это нужно ей. И я твёрдо знала, что если это нужно ей — то от меня она этого не добьётся...

...Вот тут мои трогательные воспоминания и примирение с судьбою закончились, поскольку дальше пошли другие пространственные фигуры. Ибо, как уже знает читатель, у жизни, как у Михаила Булгакова, неевклидова геометрия.

В эти торжественные дни булгаковского столетия в городе, где писатель родился и вырос и где многие десятилетия его злобно не признавали, был назначен не один, а сразу два симпозиума. Университетский, на который меня пригласили. И так называемые Международные (или даже Всемирные?) булгаковские чтения.

Центр Чтений был в Ленинграде, проходили они каждые два года, и после известного читателям моего единственного выступления там в 1986 году меня на них более не приглашали. Короче, это был Ленинградский симпозиум, но выездной, с приглашением иностранцев.

Естественно, в Киеве оба симпозиума соединились. Университетские гостеприимно пригласили всемирных булгаковедов на свои заседания, булгаковеды университетских — на свои. Даже программы утрясли: чтобы заседать попеременно, не мешая друг другу приходить в гости. И я, в канун выступления в университете, храбро (но тем не менее крепко уцепившись за руку мужа) отправилась поглязеть на международные булгаковедческие торжества.

Из гостиницы вниз, булгаковской Мало-Подвальной, на Крещатик, потом вверх, в аристократические Липки, где воздух всегда так сладостен и чист. Был там какой-то клуб — чекистов, кажется. Или меня под-

водит память? Как и всё в стране, булгаковедение было запружено «чекистами», но в этом случае совпадение, вероятно, было случайным.

В приятном здании клуба тусовались булгаковеды. Вокруг иностранцев возникали завихрения. Размывая завихрения поклонников, иностранцы в свою очередь устремлялись к чрезвычайно популярному у заграничных булгаковедов... как же его назвать? — не претендуя на оригинальность, назовём так: к господину Г. К моему изумлению, почтенная американка обнимала и, кажется, даже целовала господина Г.

Впрочем, господин этот возник в самых неожиданных точках фойе и зала. Он непрерывно оказывался то впереди меня, то слева, то справа, но — поразительно! — всегда боком. «Ах, он старается не встретиться глазами! — сообразила я. — Боится, что придётся поздороваться, а я не отвечу». И напрасно. Ну почему же не ответить любезным кивком головы на краткий и любезный полупоклон? Булгаков, как известно, впускал доносчиков в дом. Что делать, у каждого своя служба...

Господином Г. этого джентльмена назвал один немецкий литератор, выпустивший в конце 70-х — начале 80-х годов в Германии, но на русском языке несколько книжек ранней прозы Булгакова, в том числе книжку очерков, некогда печатавшихся в газете «Накануне».

В 1922—1924 годах газета «Накануне» выходила в Берлине и была газетой белоэмигрантской. А может быть, и не совсем белоэмигрантской, поскольку её, как стали утверждать знатоки лет шестьдесят спустя, подкармливала Москва. Булгаков относился к газете с лёгким отвращением, однако печатался в ней (нужно же где-то печататься), и в «Накануне» впервые увидели свет многие весьма значительные его произведения. Берлинская газета в 20-е годы продавалась в Москве, какие-то номера её застряли в нескольких крупных российских библиотеках, и к началу 60-х годов мне было известно из неких таинственных и не имевших отношения к Булгакову источников, что полный комплект её сохранился в «Ленинке».

Но поскольку газета всё-таки считалась белоэмигрантской — хранили её в так называемом «спецфонде», под глухим и жёстким контролем ГБ. Глухим: материалы «спецфонда» не отражались в доступных читателям каталогах. Жёстким: если вы всё-таки каким-то чудом знали, что нужное вам издание существует и находится в «спецфонде», требовалось осторожно и продуманно, за подходящими подписями и авторитетными печатями добить «отношение» — бумагу, которая выдержала бы все придирики «особиста». Так что прорваться к этим подшивкам было очень трудно.

И тем не менее в августе 1964 года и в этот фонд и к этим подшивкам я продралась.

Нет, никакое письмо Елены Сергеевны тут не могло бы помочь: у неё, законной наследницы, не было права доступа к этим публикациям Булгакова. Издательского договора на книгу о Булгакове, который давал бы мне какой-то статус, тоже ещё не было — договор возник позже. Но было издательство Академии Наук СССР, в каковом издаельстве у меня вышла — не готовилась к выходу, а уже вышла в свет — книжка об Ильфе и Петрове. Не помню, как мне удалось уговорить нужное должностное лицо в издаельстве Академии Наук, что, дескать, мне вот сейчас, срочно и позарез, необходимо возобновить — после выхода книжки в свет! — изучение творчества Ильфа и Петрова, и притом по газете «Накануне», где (по счастливому для меня совпадению) был однажды напечатан рассказ Евгения Петрова.

Как бы то ни было, и «отношение», и доступ, и «Накануне» я получила. Булгаковедов ещё на свете не было, не было суety, никто не знал, что



**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

Яновская Л.
«Моя земля!»
(Небольшая прогулка вместо предисловия) // Булгаков М.
Избранные произведения:
в 2 т. — К.: Дніпро, 1989. — Т. 1:
Белая гвардия. Рассказы и повести. Из автобиографической прозы. — С. 5–23.

Л. М. Яновская же — составитель и commentator (С. 745–765) указанного тома и (С. 723–749) тома второго.
Следующий, дополнительный том — с «Чёрным магом», пьесами и рассказами составляя, предисловил и комментировал уже Виктор Лосев.

Неевклидова геометрия по Михаилу Булгакову

062

я там разыскиваю («рассказ Евгения Петрова разыскиваю!»), и, уйдя в пыльные листы старых подшивок, которые, наверно, лет сорок никто не раскрывал, я в течение нескольких дней составляла библиографию публикаций Булгакова в «Накануне».

Елена Сергеевна оценила подаренный ей список: о существовании некоторых сочинений Булгакова она ничего не знала. Я радостно вручила ей «бланки заказа», заполнив которые, она могла бы получить всё это в «спецфонде»: была уверена, что уж теперь-то ей не посмеют отказать. Отказали... И остались у неё на руках: мои рукописные листки с библиографией и библиотечные бланки, тщётно заполненные её пером...

В этом мире нужно долго жить, чтобы увидеть, как причудливо вяжет петли своих сюжетов судьба. Только в «перестроенном» 1988 году в отделе рукописей «Ленинки», где уже давно хранился принадлежавший Е. С. Булгаковой архив, мне разрешили просмотреть папку, в которой должна была находиться моя бедная библиография. Не было в папке моей библиографии! Заполненный Еленой Сергеевной черновик «бланка заказа» — вот он. А листков, с которых она переписывала и которые никак не могла уничтожить, потому что для неё это был документ (с полным перечнем, шифрами, датами и прочей необходимой информацией), — нет. Зато в «листе использования», где записываются, с указанием имён и дат, все, кому выдавалась «единица хранения», значится, что в июне 1974 года папка выдавалась... воспользуемся уже принятым псевдонимом: господину Г.

(Читатель спросит: разве можно из архивной папки что-нибудь вынуть — так, чтобы не заметили работники архива? Так, чтобы не заметили работники архива, — нет, конечно: на обложке каждой папки чётко написано, что в ней находится и на скольких листах. А при попустительстве работников архива — очень просто: даже в 1988 году, когда мне разрешили просмотреть эту «единицу хранения», через четырнадцать лет после того, как в ней орудовал господин Г., все надписи на обложке всё ещё были сделаны карандашом: легко стирающимся карандашом, позволяющим делать поправки.)

Потом немецкий литератор в предисловии к одной из своих книжек благодарил за предоставленный «материал» своего друга, конспиративно и прозрачно укрытого под уже названным инициалом. А ещё позже, в 1988-м, когда и отдел рукописей, и «спецфонд» (куда прямиком шли, подальше от глаз российских исследователей, зарубежные издания) приоткрылись и я познакомилась с книжками немецкого литератора, у меня возникли вопросы. Ну, например, почему же этот литератор не попробовал разыскать подшивки газеты «Накануне» в Германии? Не смешно ли — произведения, некогда публиковавшиеся в Берлине, разыскивать через Москву? Может быть, и архив газеты нашёлся бы, а в нем — подумать только! — рукопись Булгакова в оригинале... И ещё: зачем господину Г. моя библиография? Ну, ладно, лень ему было сходить в «спецфонд», куда более доступный ему, чем мне. Но рукопись-то зачем изымать? Чем ему мешала рукопись в архивной папке?..

Так и не найдя случая поклониться господину Г., заглянула в зал заседаний. Зал был виден сбоку. Шёл доклад. У микрофона стоял популярнейший в Киеве булгаковед, тот самый, у которого были претензии к законам физики, и весьма близко к тексту пересказывал страничку из моего предисловия к двухтомнику Михаила Булгакова. Двухтомник вышел за два года до того, здесь, в Киеве, и безумный тираж его — 800 000 — уже разошёлся.

«Ну и ну, — успела подумать я, — да они меня уже цитируют». Но тут оратор закружился и закончил свою речь так: «Вот как пишет наш

замечательный и всеми уважаемый булгаковед Мариэтта Омаровна Чудакова». Я посмотрела на слушателей. Они благосклонно внимали, и профиля их были невозмутимы.

Тихо вышла на воздух. И здесь, наслаждаясь дыханием киевской весны, в небольшом количестве толпились булгаковеды. Один из них, тоже очень популярный, но ленинградский (или, как сказали бы теперь, питерский), с вызовом спросил, как мне понравилась его последняя публикация.

Мне понравилась его последняя публикация, а сюжет её заключался вот в чём. В дневнике Е. С. Булгаковой имеется не совсем ясная запись от 3 мая 1935 года: она и Булгаков в гостях у советника американского посольства; собралось человек тридцать; «среди них... какой-то французский писатель, только что прилетевший в Союз». «Шампанское, виски, коньяк. Потом — ужин a la fourchette... — записывает Е. С. — Писатель, оказавшийся кроме того и лётчиком (подчёркнуто мною. — Л. Я.), рассказывал о своих полётах. А потом показывал и очень ловко — карточные фокусы».

Увы, я не опознала писателя-лётчика, и в книге «Дневник Елены Булгаковой» это место осталось без комментария*. Собеседник же мой, оказавшийся знатоком биографии Антуана де Сент-Экзюпери и вычисливший, что в начале мая 1935 года Сент-Экс находился в Москве, весьма убедительно предположил, что это был именно он**. Маленькое, но прекрасное открытие, не так ли?

Если бы булгаковед, сделав открытие, мог остановиться! Порадоваться тому, что вот ещё какая-то подробность прояснилась, что можно различить лицо, в течение одного славного майского вечера 1935 года бывшее перед глазами Булгакова и, кажется, даже привлекшее внимание нашего героя... Но нет! булгаковед не будет булгаковедом, если — переступив через неинтересные ему подробности жизни — не попробует тут же сочинить что-нибудь эдакое глобальное, что никому, кроме него, в голову не придёт. И начинается бред.

Оказывается, этот ужин a la fourchette не более и не менее как «позволяет приоткрыть неизвестную страницу творческой биографии сразу двух мастеров литературы».

Оказывается, «общение писателей имело продолжение». (Поясню: краткая эта встреча продолжения не имела; фамилия Сент-Экзюпери ничего не говорила Булгаковым, и Елена Сергеевна не запомнила её; более того, она не вспомнила эту фамилию и в 60-е годы, когда редактировала свой дневник, хотя к этому времени слава Сент-Экзюпери уже начала всходить на русском небосклоне.)

Далее наш булгаковед ищет — и находит! — связь между сочинениями Сент-Экзюпери и булгаковским «Бегом» (не был к этому времени «Бег» ни поставлен, ни опубликован, ни тем более переведён на французский язык). Вводит в свой сюжет Любовь Евгеньевну Белозерскую — Булгакову, вторую жену Булгакова, с которой писатель к этому времени уже несколько лет как разошёлся. И, совсем доконав меня к концу статьи, выдаёт «гвоздь программы»: некоторые «картины» из эпохи гражданской войны в России, оказывается, «были поведаны французскому писателю самим Булгаковым»!

— На каком же языке они разговаривали? — спросила я.

— Булгаков превосходно знал французский язык! — сварливо вскричал знаменитейший в Питере булгаковед.

— И откуда это вам известно?

— Из книги Галинской! — вскричал мой собеседник, причём лицо его начало зеленеть.

*
«Дневник Елены
Булгаковой». —
С. 97.

**
Балонов Ф.
// Книжное
обозрение. —
М.: 1991. — № 11.

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

063

*

**Таллин. —
1987. — №4.**

**

**Я знаю, что
сейчас пишут
слитно: аутодафе.
Но мне нравится это
старое, через
чёрточку,
написание.**

¶

**Если имеется
в виду
дипломатический
rang чрезвычайного
и полномочного
посла, то так.
Только кто папа-то?**

❖

**Действительно
недоумеваешь или
придуриваешься?**

¶

50x50.

— А Галинской это откуда известно?

Мы оба знали, откуда: И. Л. Галинская, автор чрезвычайно почитаемой среди булгаковедов книги «Загадки известных книг» (Москва, 1986), доверчиво приняла за писательскую исповедь слова мастера в романе «Мастер и Маргарита»: «Я знаю пять языков, кроме родного... английский, французский, немецкий, латинский и греческий». А мои возражения по этому поводу были уже опубликованы*.

— Ну и что?! — отступая и поспешно бросая на поле боя Галинскую, отбивался булгаковед. — Любовь Евгеньевна переводила! — И не удержался, досочинил на свою беду: — Они разговаривали всю ночь втроём, и она переводила!

— Всю ночь втроём? С Любашей? И что же в это время делала Елена Сергеевна?

Я окончательно припёрла его к стенке, и он взглянул на меня с затравленной злобой. Всё! Теперь никогда он не упомянет в печати моё имя, даже если будет цитировать мои работы. И поделом: если хочешь, чтобы булгаковеды относились к тебе терпимо, не задавай вопросов...

Ну вот, как уже отмечено выше, мы прекрасно знаем, что с нами будет. И, заранее просматривая «утрясённую» программу двух симпозиумов, я сказала вслух: «А 18-го мы на их Чтения, пожалуй, не пойдём. Пожалеем себя: 18-го они непременно мне что-нибудь устроят». Но, как отмечено далее, поступаем мы всё равно в самом искреннем и блаженном неведении. Поэтому утром 18 мая, назавтра после выступления в университете, я отправилась в аристократические Липки, на Печёрск.

...Ах, чёрт, не надо было ходить! А впрочем, полагаю, от меня уже ничего не зависело. Это жизнь, парадоксальнейший драматург, перехватив руль, круто выворачивала мою судьбу и более не предупреждала меня и не спрашивала согласия.

Симпозиума не было. Отпечатанная заранее программа была отменена. Готовилось ауто-да-фе**, и предметом, так сказать, сожжения за живо предстояло стать мне. За что? Да мало ли за что! За Колонный зал и радио на всю страну... За каверзные вопросы, за вчерашних студентов, за нарушение субординации и сложившейся в булгаковедении пирамиды авторитетов... За то, наконец, что господину Г. приходилось охотиться за моими рукописями, тогда как я (в чём совершенно были убеждены булгаковеды) должна была сама передать эти рукописи для использования более достойным... Роль обязательной на ауто-да-фе святой старушки, простодушно подбрасывающей поленья в костёр, — *sancta simplicitas* — отводилась очаровательным гостьям-иностранным...

В первом, не сразу заполнившемся ряду сидел эффектный блондин в столичном белом костюме и начальственно поглядывал по сторонам. Я как-то сразу догадалась, что это Евгений Кузьмин, представитель знаменитейшей «Литературной газеты», подобно папскому нунцио (так, кажется, это называется?) специально прибывший проследить, чтобы ауто-да-фе прошло по всем правилам — оставив не более чем кучку поклонившихся, обугленных костей...

На низкой, почти не отделённой от зала сцене похаживал ведущий — известнейший не только в Москве, но и за её пределами театролог, и глаза его предательски светились радостным вдохновением охоты.

(Теперь, годы спустя, я с большим интересом рассматриваю этого театролога, когда время от времени он появляется в какой-нибудь телевизионной передаче. О, чудо телевидения, незнакомое нашим предкам... У себя дома, за прямоугольным стеклом в углу, можно увидеть кого угодно — старых знакомых или вершителей судеб человечества — лицом к лицу, глаза в глаза, и если это вершители чужих судеб, то и поразмыши-

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

064

лять, очень ли изменились люди с тех пор, как сменили звериные шкуры на отглаженные костюмы...

Вот красивый, моложавый и поджарый генерал НАТО вдохновенно объясняет, почему непременно следует бомбить Белград, а глаза его во весь экран предательски горят охотничьей страстью дозволенного убийства. Можно! Защищаясь словами о демократии, бомбить мосты и заводы. Можно! Убитых будет совсем немного — десять, двадцать, ну, сотня, ну, какой-то там обоз с детишками, так ведь это нечаянно, извините, с кем не бывает... И вот уже горит Белград, тучи огненного дыма застилают небо, медленно переступая по грязи, бредут какие-то люди с маленькими детьми на руках, кого-то хоронят и тонкие свечи вздрагивают в руках... Глаза поджарого генерала тускнеют, на время он исчезает с экрана, но он вернётся, и в глазах его появится усмешка. Можно!

Театроведы не бывают так красивы, как поджарые и моложавые генералы. Но древняя жажда крови, первобытный инстинкт человека — убить! — иногда жарко вспыхивает и в них. Какое наслаждение — отдаваться этому инстинкту. Всадить рогатину в самое брюхо поднявшегося на дыбы медведя. Влепить заряд прямо в окровавленный оскал обернувшейся на бегу волчицы... Охотник утирает смятой рукавицей лицо и с удивлением замечает, что нет в его руке ни рогатины, ни ружья. Даже рукавицы нет — отглаженный носовой платок...

Я слушаю звучащую с экрана сдержанную, очень взвешенную, не-громкую речь моего театроведа, смотрю в его остроносое, с острым подбородком, интеллигентное лицо с умнейшими отблесками в стеклах очков и думаю, что мне никто не поверит — да и сам он, наверно, уже забыл — как горели огнём охотничьего восторга его глаза, вдохновенной жаждой дозволенного убийства... Ах, как хорошо всадить нож в самое сердце медведя! Но ещё лучше — ничем не рискуя — стрелять волка из вертолёта... Бомбить Белград из недосягаемых «Фантомов»... Бить коллегу насмерть — на безопасном, санкционированном собрании, по «спущенной» сверху программе, в демократическом, «перестроенном» 1991 году...)

На помосте сцены, за круглым столиком, специально привезённая для этого случая очень старая дама — бывшая заведующая отделом рукописей «Ленинки». Это она в начале 70-х годов передала более достойному, чем я, литератору мою первую, неопубликованную книгу о Булгакове. А потом при её попустительстве (или, может быть, с её разрешения?) в середине 70-х был разграблен булгаковский архив.

Старая дама давно на заслуженной пенсии, булгаковеды смотрят на неё с почтением, и она не стыдится своего прошлого. Напротив, сегодня её триумф: обвинительной речью на ауто-да-фе станет объявленный вне всех программ её доклад.

Зал постепенно наполняется. Старая дама уже читает обвинительный приговор. В самых выигрышных местах, там, где следует смеяться или негодовать, начальственного вида блондин оборачивается из своего первого ряда в зал, широко отмахивает рукою, и публика, дирижируемая этим жестом, радостно смеётся или негодует... Взрывы смеха, естественно, по моему адресу. Всплески негодования — тоже.

Не могу вспомнить, что она там молола. Чёрт её знает, что она молола. Почему-то запомнился совершенный вздор: бывшая начальница под сочувствующие всхлипы зала рассказывала, как я будто бы повредила её партийной карьере. И большего бреда не могло быть. В те дни авторитет коммунистической партии в стране разваливался на глазах; граждане уже пачками сбрасывали на крылечки райкомов свои партийные билеты; райкомовцы прорубали в парадных дверях щели — чтобы было



**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**



куда эти билеты кидать. Кого могла сейчас интересовать её партийная карьера? К тому же, обвинять меня в причастности к взлётам и ухабам этой бесконечно далёкой от меня деятельности было решительно всё равно что обвинять в устройстве лунного затмения. Впрочем, булгаковеды это знают, и фантастический рассказ рассчитан не на них, а на очаровательных иностранных филологинь...

Собрание продолжается. Что-то выкрикивает Виолетта Гудкова; огромные очки на маленьком лице делают её похожей на хищную стрекозу. Торжествующе высится у штанги микрофона обличающий меня господин Г. Почтеннейший булгаковед, тот самый, что некогда в Ленинграде «захлопывал» мой доклад о пьесе «Адам и Ева», теперь, сидя на сцене у круглого столика, рядом со старой дамой, радуется, как ребёнок. В течение многих лет я почему-то была уверена, что он мне верный, надёжный друг.

Чудаковой, правда, нет. Её, как всегда в трудные минуты, заменяют преданные добровольцы...

Я слушаю развесёлый смех по своему адресу, и меня бьёт дрожь. Напрасно я вчера молчала — они, кажется, приняли это за трусость. Я всё-таки должна хотя бы однажды сказать им в глаза всё, что я о них думаю. Это непременно сделала бы Елена Сергеевна, но её нет. Уже двадцать лет как её нет на свете...

Нужно попросить слова. Но я ничего не могу произнести: у меня дрожат губы. Нужно написать записку ведущему. Но я не могу написать записку: дрожат руки. Ничего, муж пишет от моего имени: «Прошу предоставить мне слово после перерыва». Ведущий театровед рад. Зачем же после перерыва? Он гостеприимно приглашает на сцену сейчас, когда разгорячённый зал ещё дышит негодованием и смехом. Оскорблённого литератора хорошо бы подать свеженьким: чтобы — истерика, может быть, слёзы, даже инфаркт... Вот бы зрешище!

Но этого не будет. Я упрямо качаю головой: после перерыва. Видит он или не видит, что у меня дрожат губы? Думаю, всё-таки не видит. Он вынужден согласиться: хорошо; после перерыва.

В перерыве нужно привести себя в порядок. Где у меня валидол — его, кажется, можно принять «до». И как меня учила божественная Рахиль Львовна в Харькове? Сначала расслабить лицо, потом руки, плечи... дыхание... Всё. Я готова. Теперь я могу занять своё место на низкой сцене, у штанги микрофона.

Увы, промахи идут один за другим. Первый: какой дьявол надоумил меня надеть это синее платье? Красивое было платье, таллинского шитья, в золотую искру-полосочку. Но какая же киевлянка не знает, что в мае, когда уходят остатки прошлогоднего загара и лица женщин приобретают болезненную голубоватость, не носят синее!

Промашка вторая: слишком высок микрофон. Попросить о помощи? Кого? Ведущего-театроведа с его радостным блеском в глазах? Моего недавнего друга, этого мини-Сальери, по-прежнему сидящего на сцене, рядом с престарелой начальницей из ГБ, и млеющего в сладостном чувстве предательства? Или эффектного блондина в первом ряду?

Я делаю простую вещь — становлюсь выше. И, вероятно, от этого, захлебнувшись, с первого же слова срывается голос. Успела подумать, что нужно остановиться: вздохнуть, поправить дыхание. И... не стала этого делать.

Я увидела их всех сразу — впервые в жизни и сразу всех. Уходящий в глубину прямоугольный зал. Где-то далеко, в двух последних рядах, испуганно теснясь, замерли гости — читатели Михаила Булгакова, а может быть, и мои. Всё остальное пространство с достоинством занима-

ют булгаковеды. Да они и вчера, в университете, наверно, были? Чёрт их знает, может быть, были. По углам, что ли, по краям зала сидели, подавленные торжественностью обстановки, и я не заметила их? Или просто не хотела их там видеть?

Теперь они смотрят на меня с беспощадным любопытством: предстоит цирк — тот жестокий, занятный и злой цирк, когда толпа знает, что лонжа отстёгнута, а в трапеции намечается надлом.

Я вижу их всех сразу и — совершенно чётко, как никогда не бывает, из зала — себя. Эта непредусмотренная, отсветом от платья, обречённая бледность, этот неожиданно, из-за слишком высокого микрофона, захлебнувшийся голос оказываются настолько в стиле ожидаемой казни, что я уже не жалею ни о чём. Спектакль — так спектакль! Заклание, радость, чёрт бы вас всех побрал. Тоже мне римляне, явившиеся посмотреть на смерть гладиатора, которого непременно приколют к концу боя.

И уже не имеет значения, чему они тут смеялись. Им придётся выслушать то, что скажу я. А скажу я о них, булгаковедах, русских и иностранных, для кого нравственный подвиг русской литературы — всего лишь поприще для профессиональных игр и соревнования эрудиций... О том, что булгаковских «критиков», с таким трагическим блеском запечатлённых в «Мастере и Маргарите», теперь сменили булгаковеды...

Не было отчаяния (голова на плаху!), как всего лишь несколько дней назад, в полупустом зале Института мировой литературы, и аудитория не была мала — достаточная и квалифицированная была аудитория. Незачем было рассказывать об искажениях в булгаковских текстах — уж это они хорошо знали сами. Я говорила об их причастности к искажениям.

...Где мне было знать, что пир издательских издевательств над булгаковской прозой ещё впереди; что потом, когда я уеду, В. И. Лосев и издательства «Новости» и «Книжная палата» выпустят «новые романы» Булгакова, скомпоновав их из черновых тетрадей «Мастера и Маргариты»; что в 1998 году тот же В. И. Лосев и издательство «Вече» выпустят роман «Мастер и Маргарита» в некоем винегрете из разновременных и разнотекстологических изданий, объявив читателям, что это текст... «подготовленный Е. С. Булгаковой»; что в 1999 году издательство «Книжная палата» заново выпустит роман в давно отвергнутой, сугубо советской, замученной искажениями редакции 1973 года, публично сорвав в выходных данных: печатается «в последней прижизненной редакции»...

Не было надобности рассказывать о вранье, запрудившем биографию Михаила Булгакова. Я говорила о том, что они, булгаковеды, повинны в этом вранье.

...Где мне было знать, что самая беспардонная клевета ещё впереди, и, скажем, М. О. Чудакова, построившая, как известно, свою карьеру под крыльышком КГБ, будет обвинять в доносительстве... будет обвинять в платном доносительстве Елену Сергеевну Булгакову!..*

Говорила не о том, что разворован архив. И это в общих чертах всем уже было известно. (Разве что о разорванных дневниках Е. С. Булгаковой, из которых вырывалось и уничтожалось «неподходящее» и сохранялось «нужное», я рассказывала впервые, и для большинства это было новостью.) Но о том, что их это устраивает, что они берут под защиту грабежи. Сколько раз с тех пор, как раскрылись пропажи, я слышала эти уверещания: ах, как можно публично о пропажах!.. Фи, это бросает тень на авторитетное лицо!.. Ах, обвинять без суда — ведь не было суда!..

«Но суда не будет! — я старалась говорить короткими фразами, что-

*

Чудакова обвинила Е. С. Булгакову в платном доносительстве. См. Чудакова М. Материалы к биографии Е. С. Булгаковой // Тыняновский сборник. — Вып. 10. — М., 1998. — С. 640.

Неэвклидова геометрия по Михаилу Булгакову



бы мне хватало дыхания у этого слишком высокого микрофона. — Суда не будет — потому что не было следствия. А следствия не будет — потому что этого не допустит «Литературная газета».

К концу каждой фразы эффектный блондин в первом ряду удовлетворённо кивал головой: да, суда не будет... и следствия не будет... да, «Литературная газета» этого не допустит...

(Хотела бы я знать то, что знают блондин и дама-начальница: что там на самом деле произошло с растерзанным булгаковским архивом, как это происходило, какие высокопоставленные лица — в правящей Партии, в КГБ, в самой «Литературной газете» — стоят за этим? Когда-нибудь эта детективная история станет достоянием общества, но меня к тому времени уже не будет, а тем, кто будет, это будет неинтересно...)

В глазах булгаковедов плескалась хищная радость. Плотное, ощущенное давление шло из зала. Давление чего — ненависти? желания спорить? Нет, уверенности, что меня не должно быть. Не должно быть! А если не должно — то не будет! Такой оплошности, как упоминание моего имени в Колонном зале и потом, назавтра, по радио, более не случится. Не то что не случится сегодня или завтра. Не случится никогда.

Разваливалась так облюбованная мною гармония кольцающихся сюжетов судьбы. Концовка событий становилась открытой — в литературе-рассказании это называется учёным словом «амбивалентность». Сюжет размыкался в какую-то уходящую в бесконечность прямую, и не с чем было пересечься этой прямой, поскольку никаких параллелей не просматривалось. Не было у меня никакого дома, и места в литературе не было.

Что они мне планировали — что я из окошка сигану в отчаянии от того, что они не любят ни Булгакова, ни меня? Так ведь это мы уже проходили, спасибо за науку шлюхе из райкома партии...

Или предвкушали, что меня хватит инфаркт? Прямо тут, на глазах у любопытных? Некоторые из сидящих в зале, те, что ходили в друзьях, слишком помнят, что у меня больное сердце. Да ведь это когда было, голубчики? В течение трёх лет — в течение трёх весен после выхода моей первой книги о Булгакове (тяжело выходили в советской России книги) — я действительно очень болела сердцем. Но — не умерла; какие-то там «коллатерали» прорезались, как сказал доктор. Так что моё присутствие на этом свете придётся ещё какое-то время потерпеть.

Странно, но, кажется, я одна в этом зале чувствую (спиной чувствую), что есть и третий выход. Не выход — исход. Путь к отступлению.

Ведь уже уезжали. Пока не слишком громко уезжали, отчего казалось, что уезжают по одному. Чей-то сосед... чей-то родственник... в Канаду... в Соединённые Штаты... в Германию... Сидящие в зале хорошо знают об этом, но ко мне этот выход почему-то не примеривают. Уверены, что кто-то, а я не уеду. Почему? Потому, что не уехал Михаил Булгаков? Потому, что слишком привыкли соединять меня с Булгаковым?

Михаил Булгаков не эмигрировал.

В начале 1920 года, когда белые оставляли Владикавказ и Россию, он был в беспамятстве тифа. Поднявшись, жестоко упрекал свою жену Татьяну — она до глубокой старости болезненно помнила эти упреки — в том, что она не вывезла его, лежащего в тифу. (А ещё позже, уже разошедшихся с Татьяной, он проиграл заново этот несостоявшийся сюжет своей биографии — в «Беге». Там вывозят в тифозном беспамятстве Серафиму — сначала в Крым, потом в Константинополь, в безумие и отчаяние того, что Булгаков называет словом «бег»... «Что это было, — скажет она в последней картине пьесы. — Что это было, Серёжа, за эти

полтора года? Сны? Объясни мне. Куда, зачем мы бежали?.. Я хочу опять на Караванную, я хочу опять увидеть снег! Я хочу всё забыть, как будто ничего не было!»)

В сентябре 1921-го он лежал на округлых, нагретых за день голышах батумского пляжа и смотрел на огни уходящих в ночь кораблей. В автобиографических «Записках на манжетах»: «От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за тёмного мыса — трехъярусные огни. «Полацкий» идет на Золотой Рог».

Золотой Рог — бухта в Константинополе. Символ эмиграции и её реальность. Что помешало ему уехать теперь? Он уже принял решение — эмигрировать. Уже отправил жену Татьяну домой, в Москву. Сказал: уеду за границу, устроюсь, вызову тебя. Она плакала, прощаясь: была уверена, что больше не увидит его никогда...

Не уехал. Он не мог уехать. Он был писатель, и литературная судьба его была в России.

В уцелевших «Записках на манжетах»:

«Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

<...> Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком.
<...> ...В Москву!!!».

Любопытно, как выдаёт ход мысли писателя его слово. В «Беге» — в той первой редакции пьесы, которую Булгаков сдал во МХАТ в марте 1928 года, — Голубков, ещё более похожий на Булгакова, чем в редакциях более поздних, говорил Серафиме о своём решении вернуться в Россию в этих самых словах. «СЕРАФИМА. Поедем, поедем, Сергуня, обратно! Поедем домой! ГОЛУБКОВ. Правильно, Сима! Поедем. В мозгу нет больше крови... Не могу больше скитаться!»

Он заслоняется ссылкой на слабость как раз тогда, когда принимает твёрдое и окончательное решение...

...В Батуме Булгаков находился несколько месяцев и, естественно, служил в каком-то там «подотделе». Последний день этой службы описал в «Записках на манжетах»:

«Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал “новый заведующий”.

Он вошёл и заявил:

— По иному пути пойдём! Не надо нам больше этой порнографии: “Горе от ума” и “Ревизора”. Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..»

И далее — уже приведённые строки: «Довольно! Пусть светит Золотой Рог... Домой... В Москву!!!»

В фрагментарных по жанру, плохо сохранившихся и потому очень трудных для перевода на иностранные языки «Записках на манжетах» переводчиков особенно смущили два места: «Он не хотел меня пускать» и «вечером идёт пароход».

Прежде всего — «пароход». Уже забылось, а переводчикам, вероятно, и не было известно, что железной дороги, позднее проложенной по Кавказскому побережью Черного моря и надёжно соединившей Батум с Россией, тогда не было; в Москву нужно было ехать так: пароходом —



**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

069



**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

070

в Одессу, потом поездом — в Киев и далее поездом же («не хватит денег — пешком») — в Москву... Так — из батумского порта в Одессу — провожал Булгаков Татьяну. Так в сентябре 1921 года, продав шинель на базаре, он отправился в Москву сам.

Ничего этого не знали переводчики. Скромный одесский «пароход» представился им трехъярусной громадой, отплывающей в Константинополь (ибо если в Москву — то поездом, а если пароход, то...). И загадочный «он» («новый заведующий», не желавший отпускать героя), и совершенно ясное в контексте, но загадочное вне контекста слово «пустить» приняли неожиданную трактовку. Томасу Решке, переводившему «Записки на манжетах» на немецкий язык, было трудно представить себе, что человека, решившего оставить службу и город, должен кто-то «отпускать». Он понял это слово как «впускать» и перевёл: *mitnehmen* («брать с собой») — «Он не хотел меня брать с собой».

Переводчики читают друг друга. В переводах на английский трактовка оказалась аналогичной. И канадский исследователь А. Колин Райт, неплохо знающий русский язык, но более, чем себе, доверяющий переводчикам, рассказал уже с живописными подробностями, как в Батуме Булгаков пытался подняться на борт судна, отплывающего в Константинополь, но ему препортили путь прямо на трапе... А М. О. Чудакова, не допускавшая мысли, что кому-то известно больше, чем ей, пересказала эту фантастическую историю, украсив её дополнительными подробностями. По её версии, Булгаков даже успевает «тайком проникнуть» на корабль, «следующий из Батума в Константинополь». Так что остаётся загадкой — как же он всё-таки попал в Москву?

И ещё раз поманила Булгакова эмиграция — в 1930 году, телефонным звонком И. В. Сталина.

«Что, мы вам очень надоели? — спросил поклонник “Дней Турбиных”. — Быть может, вам действительно нужно уехать за границу?..» И драматург, только что, в письме «Правительству СССР», а фактически в письме к И. В. Сталину, просивший отпустить его из России («Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу»), стал просить... службу в Художественном театре, в России.

К этому времени он уже твёрдо знал, что его литературная судьба — в России. Е. С. записала его обращённые к Сталину слова так: «Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Несмотря на избыточную торжественность, эти слова, вероятно, близки к подлинным: год спустя Булгаков опять писал Сталину, и в письме этом есть такие, теперь уж безусловно его собственные слова: «...Я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что одиннадцать лет черпал из неё».

(Есть и другое мнение. Л. Е. Белозерская-Булгакова, слушавшая разговор Булгакова со Сталиным по параллельной трубке, говорила мне, что Булгаков не мог ответить иначе; по её словам, если бы он попросил разрешения уехать на Запад, он в ту же минуту отправился бы в противоположную сторону — на Восток. Но к её мнению есть контрдовод: судьба Евгения Замятиня. Друг Михаила Булгакова, читавший его письмо к Сталину и хорошо знавший о последовавшем затем разговоре, Замятин написал Сталину продуманно-аналогичное письмо. Был отпущен.)

В минуты отчаяния Булгаков жалел, что не эмигрировал в 1921 году. Потом не раз пожалеет, что не воспользовался кратким полуразрешением Сталина в 1930-м. Напишет (П. С. Попову, в 1932-м): «Теперь уже

всякую ночь я смотрю не вперёд, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок». В списке этих пяти «роковых ошибок», думаю, числил оба свои «неотъезда».

Он задыхался «в душных стенах» России*. Писал: «Я иступлённо хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю» (В. В. Вересаеву, 1931). «...Я должен и я имею право видеть — хотя бы кратко — свет» (ему же, 1934). Просил, чтобы его выпустили — за границу на время — на отдых. Просил, чтобы его выпустили — в путешествие.

«Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август-сентябрь. Давно уже мне грезилась Средиземная волна, и парижские музеи, и тихий отель, и никаких знакомых, и фонтан Мольера, и кафе, и, словом, возможность видеть всё это. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать!» (письмо П. С. Попову, 1934).

Оставаться за границей не собирался. И если недоумевал, почему же ему не верят, что он непременно вернётся, то говорил правду: предполагал вернуться. Он был человеком слова; и по этой причине тоже ему было очень трудно в мире вранья.

В 1935-м, уже не надеясь на успех, ещё раз попросил отпустить его за границу — на время. И снова разрешения не последовало. С дальнейшими просьбами обращаться было бесполезно...

...Булгаковеды были правы: я никуда не собиралась уезжать. Я не хотела уезжать. Булгаков писал (Сталину, 1934), что не может оставить Россию, что не вернуться — для него значит «разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном театре, ославить себя — и, главное, — всё это неизвестно зачем». Меня продолжал держать в России Булгаков; прочно пронизанная связями с Россией моя работа о нём; любовь моя — архив: его архив. И — возраст: тот преклонный возраст, до которого так и не дожил мой герой; возраст итогов — когда человек ценит свой бедный дом, очаг и книжную полку, и ветер странствий уже не надувает паруса воображения с такой силой, как это бывало в молодости, и у мастера появляется потребность в учениках...

Были вещи, которые можно было не произносить вслух: и я и зал хорошо понимали друг друга. Когда закончила, зал был полон, как говорится, под завязку. О том, чтобы, ступая по ногам, протолкаться к своему месту во втором или третьем ряду, нечего было и думать. Выходя, приостановилась у двери. Услышала: «Ну вот и славно. Теперь вернёмся к булгаковедению», — сказал прошедший к микрофону булгаковед, тот самый, что не ладил с законами физики. Он был уверен, что булгаковедение отлично обойдётся без меня. Я давно знала, что они обойдутся и без Михаила Булгакова.

В пустынnyй холл вслед за мною вышел — нет, выбросился — неизвестный мне художник В. (В одном из двух последних рядов он сидел с краю.) Так выбрасываются с площадки проходящего мимо моста трамвая при виде одинокой фигуры, слишком пристально всматривающейся в воду... И напрасно. Меня уже не била дрожь. Зато было беспощадно ясно, что поражение моё полно, а эмиграция неизбежна. Ну, что ж, хорошо, что возможна эмиграция — альтернативой аресту или петле.

Потом заседание закончилось, из распахнувшихся дверей повалила толпа. Выскочил студент; я уже немножко знала его: читатель. У него были такие огромные и такие синие глаза, что казалось, синева стекает по щекам. «Я не мог выбраться, — бормотал он. — Что это было? Что это такое было?!»

*

**«В душных стенах»
России — это из
стихов Ахматовой,
посвящённых
Булгакову.**

**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

071



**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

072

Прошли две красавицы-булгаковедки, одна — итальянка, другая — француженка, гневно взмахнув в мою сторону длиннейшими, как опахала, ресницами. O, sancta simplicitas!

И ещё был момент. Несколько часов спустя на пустынном отрезке темнеющей улицы я обернулась на легкие догоняющие шаги. Это была молоденькая булгаковедка, я сразу узнала её и фамилию её отлично помню, но не назову: зачем компрометировать хорошего человека? Она сказала торопливо: «Не думайте, что все такие...» — и исчезла, оставив у меня в руках маленький букетик белых ландышей.

Эти крошечные колокольчики на тонких стебельках, завёрнутые в тёмнозелёные листья, в мае продаются в Киеве на всех углах, но теперь мне кажется, что я нигде больше не видела их; в Израиле точно я никогда их не встречала... В «Мастере и Маргарите» Булгаков поставил эти цветы на стол Маргарите после великого бала у Сатаны: «...За столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья». Моя книга «Треугольник Воланда» тогда ещё не вышла, и девочка, оставившая в моих руках цветы, не знала, что у Булгакова это знак обречённости и смерти...

Очень не хотелось уезжать. Но оставаться было уже незачем. К концу года выяснилось, что архив для меня закрыт — навсегда. Редакции журналов — тоже. Оченьуважаемый мною главный редактор оченьуважаемого толстого журнала взял рукопись в руки, подержал, не листая, сказал, что печатать не будет, и... попросил оставить рукопись ему на память. Никогда не пойму: если рукопись хорошая — то почему же не печатать? а если плохая — то на память зачем? Был конец 1991-го — начало 1992 года. В России — парадная декламация о том, что цензуры больше нет...

Теперь всякую ночь и я смотрела не вперёд, а назад. Но меня не интересовали мои ошибки. Жизнь завершалась, оставляя позади завалы нереализованных замыслов, и вместе со мной навсегда уходила в небытие безграничная и светлая информация о моём герое...

Едва ли не в последние недели сделала отчаянную попытку подготовить к переизданию «Дневник Елены Булгаковой». Глядя на оголившиеся стены квартиры (всё уже продано или раздарено), лихорадочно говорила мужу: «Заново подготовить дневники, даже не выпустить в свет, только подготовить — это всего один год... ну, задержимся на год... из квартиры не выбгонят — мы ведь ещё не выписались...»

«Дневник Елены Булгаковой», как помнит читатель, вышел в самом конце 1990 года. Успех книги был огромен, и даже те булгаковеды, которые суетливо придумывали, в чем бы меня обвинить на этот раз, книгу цитировали взахлёб. О подлинных ограхах её они, конечно, не догадывались.

Ограхи начинались с заглавия. Книгу нельзя было называть так: «Дневник Елены Булгаковой». Никто не имел права называть книгу так. На каждой тетради своих дневников Е. С. собственноручно надписала название этих тетрадей: Елена Булгакова. Дневник. Тетрадь 2-я... Елена Булгакова. Дневник. Тетрадь 3-я... И в представленном мною, составителем, подробнейшем и аргументированном проекте издания («О составе и структуре книги...», от 5 июня 1989 года, копия рукописи у меня сохранилась, оригинал должен быть в архиве издательства) указано это единственно правомочное, единственно не противоречащее авторскому заглавие: Елена Булгакова. Дневники. Воспоминания. Автор и название его сочинения. Как же иначе?

В течение всей работы над книгой я была уверена, что она называется именно так. И только вёрстке — когда мне впервые прислали ти-

тульный лист — обнаружилась катастрофа. Мои письма-протест директору издательства «Книжная палата» были яростны, но последствий иметь не могли: здесь были дела денежные, а заключались они вот в чём.

Авторские права Михаила Булгакова к этому времени считались исчерпанными: после его смерти прошло пятьдесят лет, по советским законам наследники его более наследниками не являлись, и государственное издательство могло не утруждать себя вопросом о гонораре. Но с Е. С. было по-другому. Она умерла за двадцать лет до издания своих Дневников, у неё были живые наследники, которые пока застенчиво молчали, но в любой момент имели право потребовать свой законный гонорар. Искажение названия было удобным ходом, чтобы такой гонорар не платить. «Дневник Елены Булгаковой»? Какое же это литературное сочинение? Так, некий документ, случайно обнаруженный сотрудниками государственной библиотеки в принадлежащих государственной библиотеке фондах... (След подлинного названия книги всё-таки сохранился — в названии моей вступительной статьи: «Елена Булгакова, её дневники, её воспоминания». Название вступительной статьи денежным планам издательства не мешало.)

Но были в книге промахи и похлеще...

Как может заметить внимательный читатель, в выходных данных «Дневника» значатся два составителя — я и сотрудник Библиотеки имени Ленина В. И. Лосев. Точнее, сотрудник Библиотеки В. И. Лосев и я. Поначалу мы работали согласно, были очень довольны друг другом и никаких конфликтов не предвиделось. Собственно вся составительская работа до последних мелочей — не только отбор, но размещение и оформление текстов, комментариев, отсылок, окончательная подборка фотографий, подписи к ним и т. д. и т. п. — была сделана мною. Но и у Лосева была не последняя роль: ему принадлежала самая идея книги; он вязал эти связи между Библиотекой и издательством, без чего никакой книги не было бы вообще; и ему же («на свою голову», говорят в таких случаях в России) явилась не иначе как Коровьевым подсказанная мысль — пригласить меня в эту книгу.

Текстологические же и комментаторские работы были сразу разделены. Я готовила Дневники 1933–1936 годов и Воспоминания. В. И. Лосев — Дневники 1937–1940 годов. И было договорено, что я делаю не только свою часть работы, но — с полной отдачей и, конечно, безвозмездно — консультирую всю книгу. Поэтому и предполагалось, что моё имя будет стоять на первом месте.

Но тут, в самый разгар работы (я уже писала об этом в «Записках о Михаиле Булгакове»), произошло событие, впрочем, вполне характерное для советско-российского образа жизни. Некое лицо, имевшее связи в ГБ и ревниво заинтересованное в том, чтобы книга не вышла в свет или вышла бы качеством похуже, нажало на свои «связи». В. И. Лосев был вызван в грозное учреждение и «предупрежден» о нежелательности допуска к материалам архива моей скромной персоны. («А договор?» — слабо поинтересовался он. — «Вот пусть и выполняет договор, — сказал ему. — Без архива»). Тут моё имя составителя переместилось с первого места на второе, а между мною и рукописями, которые я готовила к печати, стали воздвигаться противотанковые «ежи».

К счастью, ни грозное лицо в высоком ведомстве, ни даже мой соавтор не знали, что провалить мою часть работы нельзя: в значительной степени она была уже выполнена, оставалась в основном сверка, и, при всём сопротивлении служащих отдела рукописей, произвести эту сверку мне в конце концов удалось. А вот та часть работы, за которую отвечал Лосев, осталась без защиты.



**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

073



Эти тетради Е. С. Булгаковой за 1937–1940 годы я читала в разное время. Но не все. Теперь доступ к ним для меня был перекрыт плотно, без зазора. Редакторы книги строго предупредили, что мне запрещено видеть не только эти тетради, но их корректуры, вёрстку, короче, всё — вплоть до выхода книги в свет. Милая и терпеливая, как все эти безотказные редакторши России с их грошовой оплатой, она теперь по многу часов сверяла эти тексты сама в отделе рукописей, работала очень добросовестно, но, конечно, уберечься от ошибок не могла.

Комментарии же и вовсе приводили её в отчаяние. Как это принято в России, Лосев представил не готовый текст, а ворох документов, выписок и соображений, которые она должна была превратить в идеальные строки литературных примечаний. Помня, что запрет на допуск меня к комментариям не так строг (всё-таки не архивные ценности) и стараясь не выпускать машинные листы комментариев из своих рук (тут запрет в какой-то степени как бы соблюдался), она медленно читала мне их вслух. И в некоторых случаях я, хватаясь за горло, просила её снять примечание совсем (это было выполнено), а в одном случае даже продиктовала справку, так и вошедющую в комментарий, подписанный не мною (автор комментария, приученный, что за него работает редактор, этого не заметил).

Но много ли я могла сделать, не имея доступа к оригиналам?

Вот в примечании к записи Е. С. от 16 января 1939 года (это запись о том, что Булгаков возвращается к пьесе о Сталине — к будущей пьесе «Батум») Лосев пишет: «Но пьеса была запрещена. Булгакову был нанесён последний и тяжелый удар. 12 сентября 1939 г. он скажет Е. С.: “Люся, он [Сталин] подписал мне смертный приговор”».

Фраза о «смертном приговоре» была мне уже знакома — но не по оригиналу, а по публикации: она цитировалась в книге М. О. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» (1988, с. 471). Причём там она выглядела несколько иначе: «Страшная ночь. (“Плохо мне, Люсенька. Он мне подписал смертный приговор”)». А главное, совершенно иначе комментировалась: «По-видимому, уже ленинградским врачом были высказаны предположения о той самой болезни, которая унесла в могилу его <Булгакова> отца на 48-м году жизни».

Так кто же подписал Булгакову «смертный приговор»? Сталин? Или врач? И что я могла сказать об этом, не видя оригинала записи и даже не догадываясь, откуда она извлечена?

Некоторое время спустя (книга вышла, Лосев потерял осторожность, а может быть, лицо из грозного ведомства ослабило хватку) я потихоньку получила доступ к таинственной записи.

Это оказался настольный календарь за 1939 год. Точнее, пачка листков календаря, снятых с металлических дужек и скреплённых тесьмой. На многих листках нет никаких помет, на других записи о домашних заботах — портниха, доктор, чай-то визит, телефонный звонок... Иногда пометы о суеверно волновавших её грозах: 11 июля — «Чтение. (Гроза...)»... 27 июля — «Читка пьесы — в 4 ч. гроза»... 28 июля — «Леонтьевы. Эрдманы. Гроза»... 29 июля — «Купанье — гроза на обратном пути»...

9 сентября впервые запись о надвигающейся катастрофе в здоровье Булгакова (многие слова сокращены, привожу полностью): «В Большом театре Миша в первый раз не увидел лиц в оркестре, не узнал Максакову — лица задёрнуты дымкой».

Назавтра — убегая от отчаяния и от болезни — они выезжают в Ленинград. 10 сентября: «Отъезд из Москвы в Ленинград — международный вагон, Борис, Виленкин на вокзале». Это значит, что их провожают Борис Эрдман и Виталий Виленкин.

11 сентября в Ленинграде. Гостиница «Астория», «чудесный номер», «радостная телеграмма» Я. Л. Леонтьеву в Москву... И попытка прогули, обернувшейся ужасом по-прежнему неумолимо надвигающейся катастрофы: «...гулять. Не различал надписей на вывесках, всё раздражало — домой. Поиски окулиста».

А вот и листок от 12 сентября, вторник... Вряд ли Е. С. возила с собой настольный календарь. Вероятно, она делала эти поспешные, полусловами, записи — вернувшись и, может быть, даже не в первый день. Ввиду важности этой записи привожу её в подлинном виде, с сохранением всех сокращений: «Остался в номере. Я в кн. лавку. Вечером у Андогского. (Речь идет о Николае Ивановиче Андогском, популярнейшем профессоре-окулисте. — Л. Я.) Настойчиво уговаривал уехать. Разговор с портье — о билетах. Молния Якову (Я. Л. Леонтьеву. — Л. Я.). Ноч. разговор из Москвы от Леонтьевых.

Страшная ночь. (Плохо мне, Люсенька. Он мне подпис. смерт. приговор.)»*

Тут же вложенный Еленой Сергеевной квадратик промокашки и на нём: «12 сентября 39 г. «Плохо мне, Люсенька. Он мне подписал смертный приговор». Одна из этих записей является наброском другой.

Доктор — вот кто подписал Булгакову смертный приговор. Доктор, сразу же поставивший, увы, верный диагноз: гипертония в почечной форме, от которой умер отец писателя и которую тогда и ещё много лет потом не умели лечить. Булгаков был врач и понял, что обречён. Через несколько дней московские врачи подтвердили трагический диагноз.

Почему не протестовала Чудакова, сразу же и правильно прочитавшая запись? Моё имя в заглавных титрах смущило её? По-видимому, мне она верила больше, чем себе, а представить, что составителю действительно стала недоступной значительная часть текстов, не могла даже она.

Фантастическая история о Сталине, якобы подписавшем Булгакову «смертный приговор», имела успех. Как и все эти бесчисленные, высокие из пальца литературные истории...

Безумно хотелось войти в эту вторую половину тетрадей. Вычитать, освободить их от ляпов. Они нуждались в комментарии, который никогда и никто кроме меня уже не сделает. И воспоминания... Да, воспоминания. Суть моего замысла была в том, чтобы представить все уцелевшие от расхищений и пропаж разрозненные листки бесценных мемуаров Е. С. Я включила в книгу всё, что мне удалось собрать по разным архивным «единицам хранения». Но всё ли я видела? Может быть, там есть ещё что-нибудь замечательно важное? И черновая редакция дневников... Дело в том, что к печати и я, и Лосев готовили тексты, уже отредактированные Е. С. Булгаковой. Интереснейшие фрагменты из сохранившихся и доступных мне черновых тетрадей я включила в комментарий. Из доступных мне — эти тетради выдавались мне в читальный зал урывками, на короткое время... Просмотреть бы их заново, полностью, не торопясь: какие новые нюансы могли бы открыться в их содержании...

Права на переиздание книги принадлежали издательству «Книжная палата». Юридические права на рукописи, на доступ к ним — конечно, наследникам. С издательством было просто: я запросила и получила письменный отказ от переиздания; книга была свободна. Уговорить наследников не удалось.

Цепляться больше было не за что.

С небольшим фибрзовым чемоданом, тем самым, с каким я езживаля обыкновенно на неделю-другую в Москву, мы вошли в какой-то частный банк во дворе на Новом Арбате. На этот раз чемодан был тяжелее

*
«Дневник Елены
Булгаковой». —
С. 380.

**Неэвклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

075



**Редакция честно
признаётся, что не
знает ответа на
вопрос: «Кто
виноват?»...**

ват, и его нёс муж: чемодан был набит деньгами, которые у нас остались после продажи имущества и оплаты всех расходов по отъезду. Барышни приняли деньги; с некоторым сомнением (развязывать — не развязывать?) поддержали в руках тяжелый брус: банковскую упаковку в однушку тысячу однорублёвых бумажек; потом, махнув рукой, бросили её к прочим. В обмен нам вручили 158 долларов и справку, что получены эти 158 долларов законным путем, при обмене в коммерческом банке. Всё это вместе со справкой легло в кармашек бумажника, и мы получили благосклонное разрешение оставить здесь же и чемодан.

Теперь уже было видно, что уезжают не единицы. Мело по всей стране — к ещё недавно недоступным границам и международным аэропортам. Мир становился маленьkim, как мячик пинг-понга, и уже не было на нём места, куда не бросало бы граждан России... (Сколько-то лет назад, не помню даты, однажды в Харькове была странная зима: днём и ночью в окна бил юго-восточный ветер, сухой, беснежный и чёрный. Он нёс тучи пыли. Пыль тёмным накатом залепляла окна, слоем ложилась на подоконники, днём в комнатах горел свет...) Говорили, что там, в южно-русских степях, на юго-восток от нас, ветер сносит плодородный слой земли, чернозём, — он, оказывается, совсем тонок, — оставляя голые, не способные родить плеши...)

В московском аэропорту, медленно толкая перед собою тележки, подвигалась безмолвная очередь. Сохнутовский чиновник деловито подталкивал и передвигал людей. У него было пугающе холодное лицо, как будто он орудовал ящиками с товаром, и был он похож на Харона, пересчитывавшего и грузившего обречённых для отправки в иные миры... Все дни до этого момента эти люди были уверены, что уезжают по своему свободному и продуманному решению. И потом, в Израиле, снова будут думать, что их выбор был свободным и добровольным. Но здесь, медленно двигаясь с бледными лицами за своими тележками, они знали истину: Россия выталкивала их... Запомнился молодой человек, с каким-то вызовом прижимавший к себе клетку с кошкой. Наверно, она была для него духом оставленного дома. Его ларами, его пенатами, его домовыми...

А потом три с половиной часа отрешённости и покоя. Плотное давление ненависти уходило, растворялось в прошлом... Впереди была запредельная бедность первых двух лет эмиграции, минарет, господствующий над Лодом, и тошнотные крики муэдзина на закате, так напоминающие «Бег». Но об этом пока ничего не было известно...

В чёрном небе ослепительно сверкала луна — светило Воланда. Она была полная и все три с половиной часа старалась держаться справа. Самолёт шёл на юг. Правда, если совсем точно, — с небольшим отклонением к западу. Ибо прямо на юг от Москвы — далеко и почти прямо на юг — Иерусалим, Ерушалаим, может быть, булгаковский Ершалаим. Справа оставался Киев, его Город. И новая геометрическая фигура ложилась на карту планеты — неправильный треугольник, вытянувшийся острым углом на юг. Треугольник булгаковской судьбы, почему-то прочно скрестившейся с моей судьбою.

[2000]

**Неевклидова
геометрия
по Михаилу
Булгакову**

076



Тамаз Георгиевич ЕРЁМИН-
ГОГОЛАДЗЕ родился в 1963
в г. Марнели (Грузия). С 1969
живёт в Харькове. Режиссёр,
актёр. Работал в гастрольных
театрах Тбилиси, Москвы,
Санкт-Петербурга.
Автор поэтических
дневниковых записей.
Публиковался в периодических
изданиях Комсомольска-на-
Амуре, Воронежа, Омска,
Санкт-Петербурга.



Воронеж

Воронье крыло на чело упало,
Обручем память сковала виски.
Русского слова хвала и опала
Обр^ечены в этом храме тоски
Неравным браком. Стены храма
Ещё хранят рубцы, как фрески,
Живого с^{лов}а Мандельштама.

[1996]

◊
**«О путник,
света
прозревающий...»**

◊
**«Тысячелетнее
лето
почти
отошло...»**

◊
Богема

Любовь Николаевна ТУРБИНА,
русский поэт (Ашхабад —
Москва — Ленинград —
Минск — Москва). Поэтические
сборники (все — Минск):
«Улицы детства» (1981), «Город
любви» (1988), «Наша надежда
жива, если плачем...» (1991),
«Сны-города» (1993), «Четыре
портрета» (1997), «Эклоги.
Стихи и переводы» (2000).
Многочисленные статьи и
поэтические подборки
печатались в московской и
минской периодике,
харьковском журнале «В кругу
времён».



•••

О путник, света прозревающий!
— Мелькнул — мерещится? — исчез.
Моя душа как лес пылающий,
Ты — заповедный этот лес.

О путник, истины взыскивающий!
Поверх залива талый лёд,
И воду с льдинками глотающий
Дрожит, его озном бьёт.

Один глоток неутоляющий —
Усмешка свыше, поздний дар,
Мгновенный, но испепеляющий
Рассветный мартовский пожар.

О ты, скитанья оставляющий,
Чтоб посох после в землю врос!
Лес догоревший, остывающий...
Остались угли, пепел роз.

[?]



•••

Тысячелетнее лето почти отшло,
Август закатный, и свет непогасный, прощальный...
За угасающим солнцем следить сквозь стекло —
Мне порученье, но смысл ускользает глобальный.

Слово «Помедли!», сорвавшееся готовое с губ,
Не позвучало, и поводов было немного —
Так, от начала до самых архангельских труб
Верх любопытство одержит и гонит дорога.

От электрички — шоссе и налево забор,
Этой дорогой меж сосен: привычный сценарий.
Каждую осень — повылезут звери из нор;
Множество смыслов является лесной бестиарий.

Смотрят в упор — не встречаются глазами, бегом,
Этой дорогой, итоговой и многолетней,
Вот деревянный, старинный, родительский дом:
Дверь приоткрылась и луч преломился последний.

[?]



Богема

Давно ль это было, недавно,
Ждала от судьбы перемен:
Сегодня я нежная Дафна,
Вчера роковая Кармен.
Меняла прически и платья
по настроению — но
Однажды от цепких объятий
Осталось на шее пятно...
Те облики и отраженья
Остались в плену у зеркал,
Сквозь пёстрое окруженье
Проглянул вдруг жестокий оскал,
И как-то, во сне холдея,
Я вспомнила, сколько мне лет...
Проснулась и думаю: где я?
Смотрю — а нигде меня нет.

[?]

Жан
Дютур:
дух
насмешливости
и нонконформизма

Александр Дмитриевич
МИХИЛЁВ (1936) — филолог,
переводчик, автор книг «Пафос
утверждения и отрицания:
Природа комического
в драматургии Ромена
Роллана» (Харьков, 1979),
«Французская сатира второй
половины XX века» (Харьков,
1989). Заведующий кафедрой
истории зарубежной
литературы и классической
филологии Харьковского
национального университета
им. В. Н. Каразина.

Собачья
голова

Жан ДЮТУР — французский
писатель, публицист. Родился
в 1920 в Париже. Учился на
философском отделении
Сорбонны. Участник
Сопротивления. Автор
шестидесяти с лишком книг.
С 1978 — член Французской
академии.

Жан Дютур: дух насмешливости и нонконформизма

Единственный перевод Дютура на русский язык:

Дютур Ж.
Воспоминания
Мэри Ватсон. —
Харьков: Фолио,
1999. — 400 С.
Кроме заглавного романа, в книгу вошли роман-размышление «Седьмой день» (1995) и рассказы из сборника 1964-го года.
Переводчик — А. Д. Михилёв.

Крупнейший представитель французской художественной литературы XX века, обладатель ряда престижных литературных премий, в том числе Интералье и Большой премии Монако, член Французской академии с 1978 года, то есть один из сорока официально признанных «бессмертными» ещё при жизни деятелей национальной литературы и культуры, Жан Дютур только в предпоследний год ушедшего столетия впервые был переведён на русский язык⁹.

Причиной тому является особая природа его творчества, побуждающая писателя всегда быть против: против глупости, ставшей одним из основных объектов его насмешливо-язвительной критики, против сложившихся и устойчивых стереотипов мышления, против модных поветрий в искусстве и в философии, против существующих политических режимов и доктрин — будь то социализм, фашизм, нынешние западные демократии или американский экспансионизм.

Французские критики охотнее всего относят Дютура к категории писателей-моралистов — литературному направлению, имеющему давнюю и устойчивую традицию во Франции в лице Монтеня, Ларошфуко, Ривароля, Вольтера, Ренана, Алена, Сент-Экзюпери — и не очень жалуют его по этой причине своим вниманием. Первая небольшая монография о жизни и творчестве писателя «Неисправимый Дютур» Алена Покара появилась лишь в 1997 году. В ней Дютур назван «великим признанным писателем», однако «слишком неизвестным», что является ещё одним из парадоксов его творчества.

К настоящему времени Жан Дютур — автор свыше шестидесяти опубликованных произведений, среди которых получившие широкую известность романы «Собачья голова», «Свежее масло, или Десять лет из жизни молочника», «Весна жизни», «2024», «Маскаренъ», «Воспоминания Мэри Ватсон», «Анри, или Национальное воспитание», «Убийца», «Плюш, или Любовь к искусству», «Бордосский семинар», «Ужасы любви», «Женские портреты»; сборники остроумных сказок и моралите «Простофили», «Конец Краснокожих», «Закат волков»; забавная и язвительная пародия на клишированный язык средств массовой информации «Готовая одежда хорошо продаётся» (трактат о журналистике), разяще-саркастический Малый учебник для авторов анонимных писем «Доброжелатель»; ряд иронических «словарей прописных истин»; множество литературно-критических эссе и социально-политических хроник.

Если попытаться определить основную черту таланта Дютура, то прежде всего следует назвать пронизывающий всё его творчество дух нонконформизма, дух несогласия с ментально-идеологическим климатом нынешней эпохи, которую он последовательно не приемлет и аргументированно критикует. Однако идеально-эмоциональный пафос его творчества окрашен не столько пессимизмом и горечью, сколько весёлой насмешливостью. Насмешливостью язвительной, порой горькой, порой озорной, но неизменно сопровождающей все его размышления о времени и о себе, ибо всё его многообразное творчество <...>

A. Д. Михилёв
доктор филологических наук, профессор
академик АН ВШ Украины

Собачья голова*

Юный Логомак, обуреваемый благородными побуждениями, пришёл к Граффити — знаменитому старцу, написавшему восемьдесят томов произведений. Логомаку было двадцать три, он мечтал о литературной славе, но был весьма несчастен, поскольку думал, что ему нечего поведать миру. Он и не подозревал — редкий случай в двадцать три года! — что О необходимо сказать. Молодой человек обратился к Граффити с такими словами:

— Дорогой мэтр, я очень опечален. Иногда мне кажется, что тело моё вот-вот развернется и сердце выпрыгнет из груди. В такие моменты я хватаю лист бумаги и пытаюсь записать то, что чувствую, но... по истечении трёх-четырёх часов лист по-прежнему остаётся чистым. Так что же нужно для того, чтобы писать?

Граффити ответил:

— Дружище, это нетрудно: берёте ручку — и пишете слова!

Логомак: Какие слова, мэтр?

Граффити: Для начала не важно какие. Слушайте, я приведу вам пример из моего личного опыта. Когда-то я был таким же, как вы. Сердце моё разрывалось, тело грозило развернуться. Я бешено хотел писать — но мне нечего было сказать, абсолютно нечего! И знаете, что я сделал? Я написал на бумаге первую фразу, пришедшую мне в голову. То была совершенно дурацкая фраза — нелепей не сыщешь...

Логомак: Не будете ли вы столь добры процитировать мне её?

Граффити: Охотно: «Жизнь моя, в целом, могла бы быть вполне приятной, если б не моя собачья голова». Зря смеётесь! Именно так принимаются за великие произведения. В самом деле — написав фразу, я её прочитал. Затем — перечитал, ещё и ещё раз. После чего стал размышлять... Я подумал: «Вот прекрасный сюжет. Я расскажу историю человека, наделённого головой спаниеля с длинными болтающимися ушами. Я подробно опишу его нравственную и социальную эволюцию».

Логомак: Что ж, так вы и сделали?

Граффити: Ваш вопрос, молодой человек, показывает, сколь плохо вы знаете моё творчество. Разумеется, так я и сделал. Фраза эта породила на свет одно из лучших моих произведений. Проницательные критики усмотрели в нём множество аллегорий: еврейской проблемы, проблемы художника, проблемы одиночества человека среди себе подобных, глубокого чувства несходства с другими, носимого каждым из нас в себе... и тому подобные алегории.

Логомак: Меня тоже, дорогой мэтр, целыми днями обуревают несуразные мысли. Но я бы никогда не додумался их записывать.

Граффити: Если у вас действительно писательское призвание, в один прекрасный день вы поймёте меня и увидите, что как раз посредством несуразных мыслей приходят к глубоким идеям и гармоническому стилю. Позвольте мне продолжить объяснение моей «собачьей головы». Вам знакома прекрасная мысль Гёте: «В начале было дело»?

Логомак: Да, я её знаю, — но, честно сказать, многое бы отдал за то, чтобы мне её растолковали.

Граффити: Я только что вам её объяснил. Пиши «Жизнь моя, в целом, могла бы быть вполне приятной, если б не моя собачья голова», я не думал — я действовал. Я изменил — пусть на ничтожно малую долю — мир... или, если угодно, что-то принёс в него. Мысль использовать эту фразу — извлечь из неё все возможные выводы, увеличить её до размеров книги, до масштабов готовой вещи — явилась потом. Что бы ни делали — в особенности, если вы художник, — в начале лежит действие,

*

Переведено по:

D u t o u r d J.

La fin de peaux

rouge. — Paris:

Gallimard. — 1964.

**Собачья
голова**

085



то есть движение вашей воли. Драма молодых людей вроде вас — в том, что они этого не знают. Молодые люди уверены, что за дело следует приниматься лишь по зрелом размышлении, составив подробный план... Так вот: это ошибка. Никогда не размышляйте до. Размышляйте после. В этом случае ваша мысль действительно поддерживается чем-то реальным; чем-то, что существует. Ей приходится обходить острые углы, отыскивать выход, преодолевать трудности — предоставьте ей возможность делать то, в чём она чувствует себя уверенно; то, что её постоянно стимулирует. В начале, мой мальчик, лежит действие, а не мысль. В этом-то и состоит чудесный секрет, который я вам дарю. Поняв его, вы сэкономите десять лет на глупости и блужданиях.

Логомак: Мне кажется, мэтр, я не вполне вас понял.

Граффити: Не удивительно. Это очень трудно. Гёте — автор не для наивных юношей вашего возраста. Он поэт для старых хитрецов.

Логомак: У меня два замысла пьес, задумка романа, под три десятка персонажей в голове, шесть тетрадей набросков...

Граффити: Выбросьте всё это в корзину — к чёрту замыслы.

Логомак: Ну уж извините меня, пожалуйста!

Граффити: Давайте уточним. Конечно, всё это очень тонко и оригинально, но не даст вам и половины удачной книги. Книги, мой дорогой, пишутся абсолютно по-другому: без заметок, без идей и без персонажей.

Логомак: И всё же — прежде чем начать, нужно же ведь хотя бы иметь представление, о чём собираешься сказать?

Граффити: Нет. Уверяю вас, нет. Грубейшая ошибка. Писать книгу значит открывать её по мере того как пишешь; и открывать самого себя. Произведение удачно лишь тогда, когда после каждой строчки художник восклицает: «Ишь ты, а я этого и не знал!» Короче говоря, никогда не следует писать о том, что знаешь. Всегда — лишь о том, чего не знаешь. Только такой ценой достаются последователи.

Логомак: Мэтр, вы, случайно, не смеётесь надо мной?

Граффити: Что вы! Смеяться над молодым человеком? О ужас! Я просто-напросто немногословен. Если вы хорошенъко подумаете, вы поймёте меня... этак через полгода.

К несчастью, юный Логомак горел желанием сделать светскую карьеру. Покинув Граффити, он воскликнул: «Вот старый хрыч!...». Стал он очень плохим писателем, пользовался большим успехом — и его всюду приглашали обедать.

Переводил с французского А. Д. Михайлёв

Ф

**Песнь
юродивого**

Ф

**«Эх, фешенебель,
фешенебель...»**

Ф

**«О, сколько
нам
открытый
чу...»**

Ф

Умиротворение

Ф

Натурщица

Ф

Мель

«...в июне 1990 года четверым молодым харьковчанам надоело просто пить пиво и читать бирманские сказки — они поняли, что их совместное времяпрепровождение есть некий ритуал. Чуть позже они узнали, что страна в юго-восточной Азии сменила имя и называется Мьянма.

Истолковав это как знак, они приняли экзотическое имя БИРМА в качестве коллективного псевдонима, под которым выпустили несколько книжек с картинками и провели небольшое количество акций. Такое сотрудничество привело их к пониманию того, что БИРМА не есть креативная группа в классическом понимании, а, скорее, открытое сообщество отдельных авторов, которые, встречаясь, ощущают, что их объединяет что-то невыразимо виртуальное...»

Фундаментальный состав:
Дмитрий Борисович МАХНУТИН (1970; публиковался в московском альманахе «Соло», харьковском журнале «Философские перипетии», Арт-галерее «Бирма» — <http://prod.com.ua/beerma>);
Игорь Николаевич НЕЩЕРЕТ (1970; публиковался там же);
Андрей Владимирович НОВИКОВ (1970; публиковался в «Соло» и Арт-галерее «Бирма»); **Наталья Витальевна ЗАГУРСКАЯ** (1973; публиковалась в «Соло», «Антологии малой прозы», «Философских перипетиях», международной серии монографий «Философия языка: в границах и вне границ»).

Д. М. — «Песнь юродивого», «Мель»
И. Н. — «Эх, фешенебель, фешенебель...», «Натурщица»
А. Н. — «О, сколько нам открытый чу...»
Н. З. — «Умиротворение»

Песнь юродивого

(поётся тонким испуганным голосом)

<...>

**Прежде чем
начинать
путешествие,
нелишне будет
узнать, что
изучение
виртуальной
географии в
настоящее время
только начинается.**

**Поэтому трудно
сказать, где
конкретно
находится Бирма.
Пока, по
сообщениям
очевидцев, можно
констатировать, что
она граничит с
Землёй Антиподов,
о которой говорил
Геродот,
Внутренней
Монголией,
топография
которой
описывается в
текстах Виктора
Пелевина и
Сармонтазарой,
исследуемой
Александром
Зоричем.**

<...>

**Этимология
имени Бирма пока
не поддаётся
точной
расшифровке.
В отзывах
многократно
произнесённого
имени княжества
можно услышать
жуужжание пчёл
(bee), готовящих
священный
напиток (ma >>**

088

Мышки.

Это мышки,
Зубастые коротышки.
Бегают по мне,
Царапают коготками мои губы,
Янтарные зубы
Лысых кошек впиваются в глаз,
Ломаются зубы,
Мой каменный остеокленелый глаз
Видит муху
Струннолетающий контрабас
Садится на руку
Ползёт,
Кушает руку.
О, Природа,
Кукла,
Маленький дракон розовых зверей.
Так.
Глаза замшелые камни зелёных морей.
Так.
Медью звенит колокольчик последний,
Жалобно звенит.
В кружках поёт Эдит
Пиаф,
Аф-аф, сказал песик,
Его звали Триумфальная Арка,
Аф-аф, зубастому жарко.
Пение тихого одуванчика
колышет ель.
Король Циркулярной Пилы
Взял в жёны принцессу
Сверлоющую Дрель.
Божечка!
Дай крови немножечка!
Пить хочу!
Хочу пить рассол сгнивших огурцов,
Пахнет на кладбище от мертвецов.
Крест,
а на нём кто-то распят —
тоже мёртвенький,
тоже вонят!
О, Природа!
Мой контрабас басит двурукий,
Струной клопа прищемило,
Ах, эти предсмертные муки.
Его лицо, как белило
Бедное насекомое,
Пальчиком его, пальчиком!
Был он нахальным мальчиком.
Девочки?
Вы тоже здесь?
Комон, бэйба, Оу-Е!

>> **beer**), дающий знания, которыми обладают немногие инициированные (деконструированное «брамин»).

Иногда музыка княжества может звучать как «Амбер», «Зонференц» или «Mo'Glass».

Язык Бирмы может быть определён как виртуальное метадискурсивное койнэ, строящееся по принципу гармонической электроники. Яркими примерами бирманского дискурса являются следующие фрагменты:

О,
сколько нам
открытий Чу
Готовит
просвещенья Ду
И опыт,
сын ошибок Тру,
И гений,
парадоксов Дру.
Так
говорил
Александр
Пу.

<...>
УМИРОТВОРЕННИЕ
Миро ромом
моросило сорной
травы семена
вместо системы
стиснутой ситом
сеяло... Тапёр за
партою рояля
торопится
воспроизвести >>

• • •

Эх, фешенебель, фешенебель
И когда ты пьяна
Ты разрушила мебель.
А глаза твои
Как мармеладные лужицы,
пальцы — тонкие, длинные
Как океан,
Океан бормотаний
Роскошная блинная,
Сладострастье колбасное
Наклонённый диван.
Ногтя мизинца движенье неловкое
Рушится домик мой
Сахарный, мраморный,
Ввек не похвастаюсь больше обновкою,
Кубик фундамента падает
Сахарный.
С визгом негромким тобою отброщенное,
Падает на пол хрустальное пирожное,
Потеряла свою реликвию эта квартира
Съеден высокий подсвечник из жёлтого сыра.
За окном появились бушлаты
И вот ушла ты.
Мягкие шары, падающие бесшумно,
Колеблют ум.
Начавшийся бесшум
Спокоен, безмятежен и суров.
Ворсу сорву
С поспешной шумности миров.

Натурщица

>> титры

**партитуры, и звуки
просто звереют в
узком пространстве
равенства транса.
Тантическое трио
орёт подобно роте
тиранов. Это рак,
лебедь и щука на
тарелке лика реки,
беда которой в
ощущении
корриды. Дыра
коры адреналином
липнет к пню алоого
дерева, ядрено
сдирая последние
ледяные райские
сопли. Плюя на
дело, арийцы
собрались на лис.
Сильно напоминая
абреков, они брели,
веря, что евреи
теперь ярко
отрицают бремя,
брея ребром
броши. Сом
брассом носа мерял
сонм мясистых тем.
Ямс массой сои мял
сомнения в мнимой
немоте. Теперь
перья репы стали
коренями, а корни
ямса и сои
устремились ввысь.
Сытый тапёр уснул
за партой рояля.**

<...>

•

**О, логомаки
попёрли...**

090

Автор:

Решив в неравный бой вступить с тоской,
Собрались все художники в стеклянной мастерской.

1-й художник:

Мы привели натурщицу,
Которую с тоски
Мы разобьём в своих работах
На магнитные куски.
Мы скомпилируем её отлично,
Нас не смутит то, что
Сияние частей магнитных
Неприлично.
Итак,

Она стоит

Ослепительно обнажённая,
Наклонив голову вверх,
Прикрывшись рукой.
На щеках и груди её

Играет
Лёгкий румянец смущённости,
Огромные глаза — сияют.

Между ног

Маленькое железное колечко,
Различимое разве что в бинокль.

2-й художник:

Какая неприличная
И талии изгиб,
И шеи столбик
Конструкция отличная,
Удачный холмик.

Её я нарисую голую на лыжах.

3-й художник:

А я же помещу её в весеннюю природу,
Иль в производственный процесс
Служения народу.

Я сделаю её полезной и прекрасной.

4-й художник:

А я вниманье основное уделю
Волшебной краске красной
И этим многих удивлю.

Её прекрасные
И соблазнительные формы
Я разложу на гаммы цвета
И на пересеченья плоскостей,
Поверхностей, лучей и скоростей.

5-й:

О, чудо-образ,
О, желанный идеал,
Как долго я тебя искал.

6-й:

Я вижу формы,
Которые от совершенства далеки.
Ту массу промахов,

Что допустить смогла Природа-мать,
Я на холсте сумею подровнять.

7-й:

А мне такого не понять.
Натурщицу я мог бы на картине распластать,
Но в этом толку нет
Ни для меня, ни для культуры
Я с ней хотел бы частью стать
Подвижной и живой скульптуры.

8-й (9-my):

Не вижу здесь натуры,
Одни глаза.
Натурщица совсем как образа.

9-й (8-my):

Да что вы, нет
Встать не могу я на такой позиции,
Мне мыслится она как часть
Всобщей композиции —
Часть целого, что автономна от него.

Все (хором):

Натурщица! Желаем все мы
Лишь пониманья твоего!

Натурщица:

Как трудно жить, когда одна ты.
Приходится играть
Роль женщины-гранаты.

Автор:

Она улыбается, медленно садится
на корточки, дёргает за маленькое
колечко между ног и взрывается.



Натурщица

091



Мель
Театр Маразма

Д е й с т в у ю щ и е л и ч а:

Дрюква

Дункан

Пью

Макнуптэн

Персик

Сын Персика, двухголовый ребёнок-мутант Велимир-и-Хлебников

Ван Гог

Тарковский

Маразмер, закройщик блуз

Старик

Зайцы

Мрак. Пусто. Нет абсолютно ничего. По мере произношения лицами слов появляются предметы, им сопутствующие.

Голос Велимира:

Анус!

Голос Хлебникова:

Кастрия!

Голос Тарковского:

Действие один, дубль один!

Кастрия надевается на анус.

Голоса Велимира и Хлебникова (узнают):

Папа!

Персик:

Опохмеливо,

О, озари...

Г. Тарковского:

Светлеет.

Персик:

О, озари.

Лучом Ярило шепчет в глаз закрытый

Зирри...

Г. Тарковского:

Светлее.

Персик:

Светлее Лея

Летящих пелей,

Струящих елей,

Звон колоколей.

Я утро...

Зинь.

Всё?

Г. Тарковского:

Всё.

Г. Велимира-и-Хлебникова:

Не всё, не всё! Хочу ковригу хлеба.

Персик:

Да это небо?

Г. Хлебникова:
Да. Это небо.
Г. Велимира:
Да. Это Нево.
Г. Хлебникова:
Да, это Пево.
Г. Велимира:
Да, это Пиво.
Персик:
О, Лебедиво...
Г. Тарковского (задумчиво):
Пиво либо Диво?
Желаю хлеба и желаю неба,
Желаю хлеба и желаю зрелищ,
Однако выбирают — Пиво либо Диво,
Какая Гнусность, Глупость и Маразм.
Уж если я желаю Пива,
Я обязательно желаю Дива, или наоборот.
Ну-ка, действие один, дубль два!
Стоп, камера!
Я понял — Пиво это Диво.
Начали. Камера пошла.



Комната, её стены сплошь покрыты толстым слоем мха. В окно просачивается бледный свет пасмурного утра. Приглушенное журчание воды. По поверхности пола течет неглубокий ручей. Вода достигает до половины ножек журнального столика, стоящего в центре комнаты, и расставленных вокруг него кресел. На столике стоят четверо; они спят, положив головы друг другу на плечи.

Первым просыпается Дрюк, полусонный слезает со стола, что-то бормочет и уходит, волнуя воду. Через некоторое время возвращается, подтягивая штаны. Садится в кресло, трёт лицо руками, потом отмороженно смотрит на серое небо за окном. Это продолжается неопределённо долго. Пью всхрапнул, это отвлекло Дрюку, он отворачивается от окна, смотрит на спящих, вздыхает, наклоняется и со дна ручья достаёт кассету. Смотрит, бросает обратно, поднимает другую, отряхивает. Затем встаёт и вставляет её в магнитофон, берёт кружку с недопитым вчерашним пивом, отпивает, морщится и выливает в ручей. Старое пиво уносит, а Дрюкса садится обратно в кресло.

Г. Тарковского:
Этот эпизод занимает уже целый час.
Дрюк:
Ну и чё?
Г. Тарковского (обиженно):
Ничё!

Зазвучала музыка, проснулся Пью.

Пью (слезая со стола и садясь в кресло):
А... Ллойд...

Пью заспанными глазками осматривает комнату, отрешённо зевает.

Мель

093



Пью:

А эти спят?
Давай-ка их будить.

Дрюк:
Давай.

Пью (дергает Дункан и Макнуптэна):

Вставайте!

Дункан:
Ника, отвяжись.

Пью (настойчиво и злорадно):
Не отвяжусь. Вставайте!

Макнуптэн:

Бля...

Пью:

Чё ты ругаешься, как скотина? (*Сокрушённо качает головой*) Вставайте... Какой маразм...

Дрюк:
Какой маразм?

Дункан:

Маразм?

Макнуптэн:

Чё?

Пью:

Маразм!!!

Входит Маразмер.

Маразмер:

Здравствуйте, что будем шить?

Дрюк:
Ничё не будем шить.

Пью:

Блузу.

Дункан:

Давайте я его стукну брандспойтом.

Маразмер (к Пью):

Какую блузу?

Пью:

Разве я сказал блузу? Зачем мне блуза? Чё ты ругаешься, как скотина?!

Дункан:
Бей жидов!

Бьёт Маразмера брандспойтом.

Маразмер (падая):

Ой...

Макнуптэн:

Убили.

Дрюк:

Ну и чё?

Дункан:

Ничё, просто так.

Пью:

А блуза?

Мель

094

Макнуптэн:
А если он своих позовёт?
Дрюк:
Ну и чё?
Дункан:
Ничё не позовет.
Пью:
А блуза?
Макнуп:
Жаль, конечно...
Дрюк:
Да, жаль, как всегда...
Дункан:
Разное бывает...
Пью:
А блуза?

Безумный Пью вскакивает на стол и поёт песню.

Песня «Я — индианка»
Я петь хочу, как индианка,
Руками двигать, как змея,
Из глотки извлекать икающие звуки
И рожей рисовать
Душевные страдания и муки.
Я петь хочу, как индианка и танцевать...
И звук консервного ситара
Мной будет рисовать ковёр волшебный,
Мой голос, словно лотос белый
На водах Ганга гладких,
Рассыпьте, погремушки, моё брюхо в складки!
Ги Сатхи-Матхи
Джида-Дыда
Пью!
Я петь хочу, как индианка и танцевать...
Я, несомненно, раненая птица.

Г. Тарковского:
Слезай.
Пью:
Кто это?
Дрюк:
Да опять Тарковский.
Дункан:
Тар-ков-ский... Еврей?
Дрюк:
Да нет, вроде.
Пью:
Чё ему надо? Чё тебе надо?!
Г. Тарковского:
Ничё! Слезь со стола и не мешай. Действие два, дубль один.
Пью:
Поджарить, что ль, калбес...
Дункан:
Вот иди и поджарь, а мы пока пивка попьём.



Мель

095



Пью:

А где моя кружка?

Дрюк:

Это моя.

Макнун:

А это моя...

Пью:

Достали! Где моя кружка? Сколько всего кружек?

Дрюк:

Четыре.

Дункан:

У каждого по кружке.

Макнун:

Кто-то из двух кружек пьёт.

Дрюк:

А зачем из двух сразу?

Макнун:

Может, два рта?

Пью:

Мутант? Среди нас мутант? Кто мутант? Поднимите кружки. (*Считает*) Один, два, три, четыре... Странно. Не опускайте. Это Дрюквы, это Дунканы, это Макнупа, а... А это кто?

Дрюк:

Мутант. Сын Персика — Велимир-и-Хлебников. Впрочем, добрый малый.

Пью:

Мутант, отдай кружку!

Велимир-и-Хлебников:

Не отдам, не отдам. Сам буду пить. Да, сам. Дай мне пивнуть. Я ещё сам не напился. Дай сюда. Не дам...

Пью:

Чё это они?

Дрюк:

Ругаются.

Дункан:

Видишь ли, им тоже кружки не хватает.

Пью:

Какая скотина...Отдай кружку!

Велимир-и-Хлебников:

Не отдам.

Пью:

Ах, так! Ах, так! Вот тебе, вот тебе!

Пью сидит на Велимире-и-Хлебникове и тыкает его карандашом.

Персик (вбегает):

Стой, стой, убийца!

Пью (озверело):

Ещё мутант?!

Протыкает Персика карандашом. Персик, истекая кровью, падает в воду.

Мель

096

Пью:

Вот-вот...

Добивает Велимира-и-Хлебникова.

Дункан:

Как интересно...

Дрюква:

Пью, ты совсем, как нинзя...

Пью (устало):

Может, блюз?

Макнуп (восходя на стол):

Блюз.



Блюз «Запорные аспекты блюза»

Я слушал блюз,

Я долго слушал блюз,

Чудесный блюз,

Прелестный блюз.

Я гадить не хотел,

Но блюз велел.

Чудесный блюз,

Прелестный блюз, что вызвал у меня запор,

Но это вовсе не позор,

Это запорные аспекты блюза.

Я клизмой излечил болезнь.

Чтоб снова спеть преблюзовую песнь.

Блюз-клизьма ты-ры-ры,

Блюз клизьма тум-дурум-дыры...

Какое счастье, я здоров

И блюз послушать вновь готов,

Блюз клизьма-ма,

Играй сама,

А я спою

Чудесный блю

Прелестный блю.

Но удивительное в том,

Ах, удивительное в том,

Со мной случилось вдруг потом,

Зажмите нос,

Со мной случился вдруг понос.

Совсем неблюзовая вещь,

Весьма неблюзовый понос,

Традиционный и трагичный.

Какая странная музыка,

Какая страшная музыка,

Какая странная музыка,

Какая страшная музыка

Этот блюз...

Г. Тарковского:

М-м-да-а...

Все:

М-м-да-а...

Макнуп (слезая):

Хм... по-моему вовсе и не мда. Физиология...

Г. Тарковского (размышиляет вслух):

Вырезать, что ли?

Мель

097



Макнуп:

Что вырезать?! Я тебе вырежу! Я тебе вырежу!

Пью:

По-моему, он уже всех достал...

Дрюк:

Тарковский!

Г. Тарковского:

А?

Дрюк:

Х.. на! Какой маразм!

Смеётся, все тоже смеются, кроме Дунканы.

Дункан (шёпотом):

Тише... Маразмер... Дух Маразмера...

Все испуганно притихли.

Г. Тарковского:

А, уделались? Действие три!

Неожиданно гаснет свет. Квадрат окна, ночь. В тишине только движение воды. С шипением загораются свечи. В колеблющемся свечном свете четыре лица — дебильно таинственных. В широко открытых глазах — свечные блики.

Отвисшие челюсти, стекающая по подбородкам слюна растянутыми каплями падает в воду. Всплеск, расходятся концентрические круги и точку слюны уносит в потоке воды, ещё всплеск...

Г. Ван Гога:

Весна...

Макнуп (от неожиданности вздрогнув):

Что?

Пью (отираясь рукавом) :

Свет... Где свет?

Дункан:

Кто-то нажал кнопку...

Дрюк:

Вот ведь что бывает, если кто-то имеет кнопку.

Пью:

Кнопки бывают разные...

Дункан:

Чёрные...

Дрюк (к Дункану):

А ты мог бы нажать кнопку?

Пью:

О, да, он такой, он может. Он Человек, Который Может Нажать Кнопку.

Макнуп:

Кто сказал весна?

Дункан:

Да, Кнопка... это сила, это моя мощь.

Дрюк:

Интересно, а у него есть кнопка?

Пью:

Очень опасно, если у него есть кнопка. Вдруг нажмёт?

Мель

098

Дункан:
Нажму.
Пью:
Вот видишь.
Дрюк:
Надо предотвратить.
Пью:
А как?
Дрюк:
Надо письмо написать.
Пью:
А кому?
Дункан:
Мне.
Дрюк:
Ему.
Пью:
Да, ему. Будем писать ему письмо Ван Гога.



Из воды поднимается Ван Гог с чемоданом в руке.

Ван Гог:
Чур, я буду диктовать!

Открывает чемодан. Чемодан набит письмами. Берёт листок.

Ван Гог:
Читаю.
Все:
Да, да...
Ван Гог:
«За окном безумно скачут... скачут деревья и разные...
Пью:
...кнопки, мутанты, а также блюда».
Ван Гог:
Помолчи. «А однажды я нарисовал две селёдки».
Пью:
Я пойду калбес пожарю.
Дрюк:
Ты это... не обожгись, и захвати там пивка.
Дункан:
Сколько мы уже выпили...

Ван Гог замолкает, жестоко ударяет письмом сидящего рядом Макнупа и обиженно поворачивается ко всем спиной.

Ван Гог:
Я обиделся.

Макнуп качает головой, как это делают, когда выходят из себя, берёт подсвечник и, размахнувшись, бьёт им Ван Гога в затылок.

*Ван Гог, стукнувшись головой об стену, медленно сползает в воду.
По воде плывут его письма.*

Неожиданно загорается свет.

Мель

099



Пью:

О, кайф.

Дрюквя:

Какой же кайф? Опять кто-то кнопку нажал.

Пью:

Кнопки бывают разные.

Дункан:

Чёрные. (*Влезает на стол*)

Про кнопку.

Песня «Про чёрную кнопку»

Чёрная кнопка,

Чёрные мысли,

Вот тайна.

Это психоз.

Чёрная кнопка жирным пятном в мозг.

Вот тайна.

Чёрная кнопка — женщина пальца,

Оргазм.

Я обрубаю себе все пальцы,

Маразм.

Чёрная кнопка — любимая кнопка.

Нажать!

Это великая тайна,

Трудно дышать.

Вместилище странных желаний,

Я гляжу тебя и щупаю робко,

Гори, гори моя звезда,

Чёрная кнопка,

Это чёрная кнопка,

Моя чёрная кнопка.

Г. Тарковского:

Я пошёл.

Все:

Куда? Куда это он пошёл? Может, к нам?

Пью:

А пойдёмте вместе с ним.

Все:

Пойдёмте.

Входит Тарковский.

Все:

Вот мы и пришли.

Здороваются друг с другом. В сторону Тарковского никто не смотрит.

Тарковский:

Светает.

Все:

У вас тут, знаете, светает...

Тарковский:

Почему меня не замечают?

Дункан:
А, и ты пришёл...

Тарковский:
Я пришёл. И пришёл затем, чтобы последнее...

Дрюква:
Тарковский, а хочешь пива? У нас есть много хорошего пива.

Тарковский:
Много? Дай.

Пью (тихо Дрюкве):
Дай ему литр, а больше не давай.

Дрюква:
На тебе, Тарковский, литр хорошего пива.

Тарковский:
Да, я люблю литр пива, а ещё больше люблю три литра пива.

Пью (в сторону):
Какая скотина!

Тарковский:
Вообще я люблю не пиво, а большие числа. У вас есть большие числа?

Пью (подозрительно):
А тебе зачем?

Тарковский:
Хочу.

Дункан:
А если очень большое, если такое большое, что может убить?

Тарковский:
Это невозможно. Хочу.

Дункан:
Тогда три.

Тарковский:
Что три?

Пью:
Три капли, которые Дрюква сунул в пиво Тарковскому.

Дрюква:
Как это грустно...

Тарковский:
Какие капли?

Все:
Не знаю, не знаю...

Тарковский, тяжело дыша и хватаясь за горло, сползает в воду. Все с интересом смотрят.

Дрюква:
Утонул. Я больше не усну...

Романс
Я больше не усну
В отверстиях рассвета,
Я больше не скажу,
Молчанья мудрость это.
Мой воска взгляд пустой,
А губы фиолета,
Холодная рука
Сжимает сигарету.



Мель

101



Я умер, но я больше не усну.
А памяти стакан
Прозрачный разбиваю,
В питье нужды мне нет,
Вам память оставляю.
Холодный и немой,
Я стану для вас мёртвым,
А для себя другой,
Я — новый, новородный.
О том, что было здесь
Я даже не взгрустну,
Я ухожу туда, где больше не усну...

Тишина, наступившая затем, неестественна: полное отсутствие звуков, неподвижность, глухота. Тусклый серый свет раннего утра медленно заполняет объём комнаты. Но интенсивность нарастает и уже неестественно яркий поток вливается через окно. В его лучах стены оплываются, колеблются и исчезают в светящемся тумане.

Больше комнаты не существует.

Светящееся пространство окружает четверых. Убывающая вода возвращает звуки и открывает тела. Плеск, движение, её журчание. Над поверхностью появляются руки, лица. Глаза Ван Гога открыты, его голова лежит на боку, из открытого рта ручейком вытекает вода, появляется второй глаз. Ван Гог на груди Аниты. Здесь Тарковский и Персик, Велимир-и-Хлебников, повернув друг к другу головы, лежат попрёк Достоевского. Чья-то рука со сквозной раной в ладони. Протез ноги упирается в живот человека в золотых одеждах, его синюшное лицо обращено к небу, глубокие чаши глазных впадин заполнены водой, на дне их сверкают белки широко открытых застывших глаз. Множество тел открывает вода под ногами.

На образовавшемся острове, скользя по влажным трупам, топчутся четверо, с озабоченным интересом всматриваясь в их лица, узнают того или другого, переговариваются, нагибаются или приседают над телами, передвигают верхних, чтобы увидеть нижние пласти. Туман плотной светящейся стеной окружает остров, оставляя вокруг него незначительную полоску свободной воды. Дункан разрыл глубокую яму, вытаскивает оттуда тела, Дрюква отволакивает их от края.

Дункан (вылезая из ямы, вытирая руки):

Где Маразмер? У него мой брандспойт. Ведь он где-то здесь...

Дрюква (показывая на человека возле стола, переворачивает его):

Однако, это не он, это Эвтычан.

Пью:

Зачем тебе брандспойт? Здесь много пива... Идите сюда.

Дрюква:

Если брандспойт запаять с узкой стороны, то получится кружка...

Дункан:

...кубок.

Дрюква:

...а если вставить в него линзы — получится телескоп, нам было бы кстати, а если проделать в нем специальные дырочки, то получится весьма забавная флейта, можно играть басбрандспойт-джаз, а если...

Пью (правляя стол):

Идите сюда.

Ножка стола попадает прямо в открытый рот лежащему под ней Введенскому, стол качается, Пью выдёргивает стол из Введенского.

*Пью (брезгливо отодвигая ногой голову Введенского):
Падаль...*

Остальные, прекратив поиски брандспойта, собираются у стола.

Пью:

Всё. Стоит...

Друзья мои, это светлое утро застало нас в похмелье, этот восход..

Макнуп:

Я не вижу солнца.

Пью:

...этот восход встретил нас Концом Света и, будучи спасёнными в его Похмелье, я хочу начать утро первыми словами:

В начале было Похмелье, И похмелье было Бог, Всё через него начало быть.

Дункан:

Если это и конец, то уж конец наших мозгов.

Дрюкова:

Иначе — маразм, удивительно затянувшийся.

Пью разливает. Одна из наполняемых кружек начинает скользить по полированной поверхности стола к краю, грозя упасть вниз, но Пью успевает подхватить её.

Пью (опять выравнивая стол, раздражённо):

Это когда-нибудь кончится?

Дункан:

Вряд ли. После конца ни о каком конце и речи быть не может. А некоторые придуры, между прочим, нередко теоретизировали здесь об этой самой бесконечности...

Дрюкова:

...об этом самом маразме.

Макнуп:

Вот-вот... и если человек откроет двери понимания, то увидит истинный свет, свет бесконечного Маразма. Не я сказал. Интересно, данную ситуацию можно определить как дерзковую?

Пью:

Пока есть пиво, нельзя.

Дункан:

Пиво будет бесконечно.

Пью:

*Тогда поднимем бокалы,
Сдвинем их разом,
Да здравствует Пиво,
Да здравствует Маразм.*

Все:

Да-да.

Пьют.

Макнуп:

Смотрите.



Мель

103

Если б только этим ограничивалась роль зайцева семейства в истории литературы! См.: «Подтирался я ёщё курицей, петухом, цыплёнком, телячьей шкурой, ЗАЙЦЕМ, голубем, бакланом, адвокатским мешком, капюшоном, чепцом, чучелом птицы» (Р а б л е Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль); «Междур вторым и третьим этажами я почувствовал, что меня сейчас вырвет КРОЛЬЧОНКОМ Я так и не переговорил с вами заранее касательно этой моей особенности, но не из непорядочности, поверьте: не будешь же ни с того ни с сего объяснять людям, что время от времени тебя рвёт живым КРОЛЬЧОНКОМ. <...> Когда чувствую, что меня вот-вот вырвет КРОЛЬЧОНКОМ, я вкладываю себе в рот два пальца, раздвинутые, словно раскрытые щипчики, и жду, пока в горле не запершил от тёплого пушистого клубочка, >>

Мель

104

Из светящегося тумана выплывает лодка. В старой лодке из почерневшего дерева стоит, управляя веслом, седой бородатый старик, его окружает множество зайцев.

Старик (сурово):

Здесь кто-то говорил о Боге?

Дрю:

Мы говорили о Боге?

Дункан:

Пью что-то говорил о Боге.

Старик:

Разве вы не слышали, что Бог умер?

Дрюква:

Я любил Бога. Я читал его вслух и наизусть. Мне нравятся его книги.

«Грибы как люди» особенно предпочитаю...

Пью:

Потенциальный фунгофил. Я собираю бородавки. Букет нежен, я очарователен и похотлив. Впрочем, по-разному.

Старик (осторожно):

Бог умер...

Дункан:

За телом, должно быть, приехал. С зайцами в морге. Это неожиданно.

Однако, зайцы, вы кто?

Зайцы:

Мы продукт инкарнации. Ты не узнал наши пушистые лица? Прохожий, ты не узнал честный взгляд наших умных глаз? Опять дождь...

Макнуп:

Я не мог предположить... Все эти и пребывают после в этих мордочках. Причём, все и только в этих уродцев... — продукт дефекации.

Пью:

Сратъ зайцами³ — это фантастика. Я не верю в это. Сратъ можно апельсиновыми косточками, дверными ручками, шестернями, всем, чем угодно, но только не зайцами. Я бы удивился. Хотя я знал одного юнната, он срал кормом для рыбок, но зайцами — это вы преувеличиваете. Это невозможно.

Дрюква:

Это нематериально. Мой сложный духовный процесс многозначителен, как венок — завянет или убьёт. И я более духовен в этом, чем в чём-либо ещё. Мои клумбовые фекалии, право, как фиалки, валяются вам в душу и остаются там словами: «Я полезный». А я полезный, ведь я люблю испражняться около белых овец чистыми зайцами. Уберите зайцев, мне неприятно.

Дункан:

Крайне неприятно. Эти шорохи желтеющих зайцев, шёпот любимого старика... Осенние извращения наполняют меня новыми градациями, я напрягаюсь... и жидкий стул памяти, на котором не усидишь. Я выздоравливаю. Знаете, а душа — это всё-таки... это всё-таки было хорошо. Вот это... горечь потери, радость приобретения там... да?

Пью:

Да, душа — это плод.

Дункан:

Вот только были всё же скверности. Вот от души бывало, да? А ведь потом рвёт и как...

Макнуп:

Симптом градации. Что поделаешь... Потому лучше, широко улыба-

ясь и скользя губами. Эстетичнее. Зайцы, как вы градировали?

Зайцы:

Мы — толпа единственных зайцев, градировали болезненно.

Пью:

А ведь что и было, так это единственно — душа.

Дрюкова:

Да, уж было что продать.

Дункан:

Ещё был брандспойт. Но утерян.

Макнуп:

Кто-то сдал его в починку. Но кто?

Дрюкова:

Зайцы.

Зайцы:

Мы — единственное откровение...

Дункан (зловеще):

Откровение — это менструация. Случается периодически. Откровение сопровождается выделением грязной крови. Нечистые, зловонные струи...

Пью:

Да, мы посмотрим, но не испачкаемся.

Зайцы:

Мы — толпа весьма чистых зайцев.

Дункан:

А где брандспойт?

Зайцы:

Мы умные, если хотите...

Дункан:

А где брандспойт?

Зайцы:

Мы не пахнем и весёлые.

Дрюкова:

Чистые, значит?

Зайцы:

Чистые.

Дункан:

Чистые — лучистые...

Он по одному вылавливает суетящихся зайцев, брезгливо поднимая их за уши, опускает в ведро с пивом, топит. Пью, сатанически улыбаясь, помогает ему.

Пью (поймав последнего зайца):

В мечтах стать единственным чистым, я приглашу парафин моего мозга, бриолин — эрекция моего ума. Я чистый, жирный на ощупь. Всегда... невероятно глупо придуманный. (*Топит, а вытащив, разглядывает.*) Ненастоящий...

Выбросив зайца, он жадно пьёт из ведра.

Дрюкова:

А мне жаль, например, обижать зайцев.

Обиженно отворачивается и видит, как в стороне старик пытается использовать труп для соития.

>> одни мающимся
вверх быстро-
быстро, словно
пузырьки,
закипающие в воде
от щепотки
фруктовой соли. Всё
очень гигиенично,
длится меньше
мгновения.
Вынимаю пальцы
изо рта, зажав
между ними уши
белого
КРОЛЬЧОНКА. Вид у
КРОЛЬЧОНКА
довольный,
КРОЛЬЧОНКО как
КРОЛЬЧОНКО, без
малейшего изъяна,
только совсем
малюсенький,
величиной с
шоколадного, но
белый, а так
КРОЛИК по всем
статьям»
(К ортасар X.
Письмо в Париж
одной сеньорите).
Не убоюсь и такое
вспомнить:
«— Где же у тебя
смерть, Кош
Бессмертный? — У
меня смерть, —
говорит он, — в
таком-то месте; там
стоит дуб, под
дубом ящик, в
ящике ЗАЯЦ, в
ЗАЙЦЕ утка, в утке
яйцо, в яйце моя
смерть» (Русские
сказки. Из
сборника А. Н.
Афанасьева).
Отсюда и до
горизонта лит.
река — привет
Джойсу! — >>

Мель

105

>> белым-бела от
всплывающих
кверху ногами
заячьих архетипов...
Знай успевай
вылавливать!



Ещё — эмблема
«Плейбоя»... И тот,
что Пушкина
испугал, а Битова на
мемориальные
деяния подвигнул...



Про рекламных
забыл! Про тех, что
на энерджайзерах!



А эти при чём?



Да как бы так
вроде и не при
чём... Хотя... Ну,
это, в общем,
Вэ Курицын любит
про них ввернуть:
подсели, мол,
энерджайзеры у
зайцев-то
постмодерна...



И-эх, говори
Москва,
разговаривай Расея!



Жывая жызнь!
Цырк!..

Мель

106

Дрюкова:

Некрофилия! Какой смысл, какие аналогии... Об этом стоит, конечно, подумать. Отсюда прекрасно видно. (*Усаживается в кресло*) Как думаете, у него получится?

Оставшись без ответа, он уходит в сосредоточенное наблюдение, выражение его лица свидетельствует об интенсивной работе мозга, в то время как остальные, обернувшись, непонимающе взирая на действия старика, лишь осмысливают происходящее, пытаясь определиться в своих действиях, однако уже по их виду ясно, что аналогий они искать не собираются. Старик, заметив, что за ним наблюдают, настороженно смотря на них, приостанавливается, отпускает труп, но, не желая с ним расставаться, держит за ногу.

Очевидно, ему что-то не нравится в их взгляде, он пятится. А они, краудучись, начинают приближаться к нему. Старик отступает, труп волочится за ним. Они срываются первыми.

Старик, вздрогнув и пошатнувшись, разворачивается, отпуская труп, бежит. Они бросаются за ним, только Дрюкова остаётся в кресле. Широко перескакивая с трупа на труп, бегут, как по болоту, трупы скользят под ногами, брызги оставшейся в лужицах воды, они спотыкаются, падают. Старик задыхается, но не останавливается.

Остров как бы раздвинулся, трупы переходят в линию горизонта. Бегут. Впереди неожиданно появляются знакомые предметы того места, с которого они начали. Старик проносится мимо стола, они же останавливаются. Дрюкова сидит, как его оставили, всё также смотря на старика, который, тяжело дыша, остановился у того же трупа.

Дрюкова:

Некрофилия — это жизнь! Это хорошо.

Пью:

Это на любителя...

Дункан:

У любителя мой брандспойт...

Пью:

...который он использовал так удивительно, скотина...

Дрюкова:

Как? Я знаю все применения брандспойта.

Макнуп:

Собственно, наш ли теперь это брандспойт?

Пью:

Это теперь не наш брандспойт, это и не брандспойт вовсе, это...

Дрюкова:

...конечно, это только символ некрофилии.

Дункан:

Какой символ? Это же узнанный Маразмер.

Дрюкова:

Конечно, это плохо, некрофилия будет жизнью после смерти, но это тоже хорошо... для Пью.

Пью:

Почему? Я не умру, чтобы сношаться с богами. Когда все умирают, значит, пришло желание. А он зачем извращается?

Дрюкова:

От нечего делать. Лучше на работу устроиться, быть полезным, а не живым.

Дункан:

Он при жизни очень хотел, а тела не было, и вместе со своим либидо он направился в обратную сторону, ругаясь.

Пью:

Пришёл сюда, но свет уже кончился и, найдя его мёртвым, крайне огорчился. Любил ведь. В полупомешательстве он пошёл на это извращение.

Дрюква:

Да... Некрофилия — это любовь, а любовь — это некрофилия.

Протяжный крик заставляет их обернуться. Старик, бешено вытаращив глаза, судорожно подёргиваясь, валится с трупом на бок. Они успевают подбежать тогда, когда уже всё закончилось.

Старик отваливается от трупа.

Дрюква:

Вот, стало быть... Преодолел...

Вдруг тело старика резко подкидывает, сотрясает, конечности дёргаются. Это агония.

Дункан (наклонившись, всматриваясь в лицо):

Я не понимаю, так это Маразмер или не Маразмер?

Старик:

Это Мель...

Его последний выдох разносится эхом, выбирируя и умножаясь в открытых ртах трупов.

Всё незаметно меняется, становится незнакомым. Мель. Неизвестным. Мгновенно темнеет и рассветает. Формы исчезают, исчезает их смысл. Мель. Шумы, голоса неизвестны искажены.

Временами можно различить кого-то из четырех; их голоса, отрывочные фразы перерастают в пение.

Пью:

Я доволен вполне твой мёд
Собаки скачут и слишком розово
Какая снега грудь и какой лёд
Мой Мель поёт, мой Мель зовёт

Хор:

Ооо Мель
Я не знал что ты пришла

Ооо Мель Душа

Дункан:

Я убил брата Мыши
Сильна моя рана, в ране кость
Я улыбаюсь тебе лишь

Песцовый тебе хвост

Хор:

Ооо Мель
Я говорю слово
Ооо Мель снова

Макнуп:

Я был Великий солдат
Так стало быть голодный



Мель

107



Вил силы чёрный канат
Ты апельсин потный

Хор:

Оо Мель патоку лей
Оо Мель Клей

Оо Мель

Дрюква:

Дрель
Дрель Бревна Дева
ууу Дрель

Древо форель

ууу дева

Доски чисты

Стружкой плева

У, грязная Дева

Я долго работал

Я потел и нуждался

Много недель,

Я обосрался,

Но я сделал стул

Хор:

Оо Мель
Твой Ветер подул
Оо Мель Твой Гул

И подобное — до бесконечности.

[?]

❖
**Дед
Макар**

❖
**«Бессовестно
далёкие
мечты...»**

Владислав КОПТИЛОВ родился в 1974. Учился в Харьковском институте физической культуры; работал на кладбище, в пекарне, торговал на рынке, клал плитку и проч.; публиковался в районной периодике. Фронтмэн и автор песен красноградской группы «Чужие» (бывш. «Red City»). Живёт в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области.



Дед Макар

В деревне, где жила моя бабушка — мать отца, был один старик. Все звали его дед Макар, а за глаза дразнили кривым. Было ему лет восемьдесят, а может, и того больше, и был он горбат от рождения. Бабушка говорила, что когда-то один деревенский умник прозвал его «квазимодой», но кличка эта не прижилась, и так и остался он на всю жизнь Кривым. От Квазимода был у него разве что только горб, кривая походка и огромная физическая сила: говаривали, что он сам мог, ухвативши за рога, повалить взрослого бычка.

Из рассказов отца я узнал, что в начале войны Макар просился на фронт, но ему отказали, и когда пришли немцы, он ушёл в партизаны. Тогда же, в войну, погибла его первая жена. Лет через десять он женился ещё раз. Вторая жена его была очень слаба и болезненна, и через несколько лет он похоронил её. Детей у него не было. Последние годы Макар жил с маленькой злой старушонкой. Что связывало этих двух совершенно разных людей — для меня так и осталось загадкой.

Почти каждое лето я приезжал в деревню. Помню, как детворой мы боялись старика и рассказывали друг другу страшные истории о том, как дед Макар поймал какого-то мальчика и теперь носит его в своём горбу. Будучи постарше, дразнили его Кривым и разбегались кто куда, когда он, шутя, гнался за нами. Когда мне было тринадцать лет, я подружился с ним и часто, сидя на старой скамейке, слушал старикивские рассказы. Помню его большие, удивительно ясные глаза и грубые, пахнущие махоркой руки.

— Знаешь, малец, что такое тюрма? Там, брат, всё по распорядку, по строгости.

— А ты откуда знаешь, дед Макар?

— А я сидел там опосля войны, один год... за вбивство.

— ?!

— Поехал я как-то в город, строили я тоды — немцы пошли всю деревню сожгли, ну, поехал купить кой-чево. Долго ходил, приценивался, когда подходить до мене двое, молодые совсем, спрашиваются, значить: «Ты не подсобишь нам, друг, здесь недалече, шкап на пятый этаж занесть надо?» «Подсоблю, — говорю, — чё ж не подсобить». Силы-то во мне ого-го сколько тоды было. Ну, пошли мы, заходим во двор. Гляжу — дом-то весь разбитый, пустой. «Куда ж несть-то?» — говорю. Когда ещё четверо выходят — цельная банда, значить. Один подходить и говорить: «Давай деньги и не вздумай рот раскрыть!» Вижу — ножичек в руке жмёт. Ах ты, думаю, паршивец такой... немец мене не вбил, а ты... Хотел пугнуть малость — дал яму кулаком по лбу, а он упал и головой об камень... За непредмеренное вбивство пошиптали, самооборона... год и дали... Взял и я грех на душу.

Через два года, в конце июля, я снова приехал в деревню и узнал от бабушки, что дед Макар стал частенько попивать, и что Зойка, так звали его старуху, постоянно кричит на него и даже бьёт. Утром я пошёл к нему. Дед Макар сидел на той же самой скамейке и крутил самокрутку. За эти два года он действительно очень изменился: как-то осунулся, сгорбился ещё больше, и полностью поседел, — а может, это я вырос...

— Здорова, малец! Давненько я тебе не видал, — он пожал мне руку. — В гости прибыл?..

— Да. А вы как, дедушка?

— Што тебе сказать... Жили, жили помаленьку — теперь, видно, время помирать пришло.

— Да что ты, дед Макар! Ты ещё меня переживёшь.

— Ты языком-то не мャли, лучше послушай, што я табе расскажу. Ко-
сил я на днях траву за ставком, покос пройду — покурю, потом опять бя-
русь. А вышел-то рано, темно ишишо было — ну, штоб не жарко, значит.
Кошу себе, хорошо так, сонушко уже светить начинаеть, когда гляжу —
зайчонок в траве сидить и на мене смотрить, а я косу-то уж опускаю и
остановиться не могу, так и гляжу на него... прямо голову яму и отсёк.
Тут ноги у мене подкашивать стали и такой страх накатил, што я уж не
помню, как до дому добрался... Весь день пролежал я ничком, не евши и
не пивши. Бабка-то моя всё орёт, а я ляжу, будто бы и не здесь, и таку-
щая тоска мене съедает, и заячья голова перед глазами стоить. Не
знаю, как уснул... и снится мне, будто сижу я дома, в окошко гляжу, тут
дверь открывается и входить Аньотка — первая моя жонка: «Засиделси
ты, — говорит, — Макар. Пора». И понимаю я, што не зайчонку я сегод-
ня, а себе голову отхватил... Проснулся, глаза открыл, вижу — бабка ря-
дом спить, луна в окошко светить... дай, думаю, покурю, успокоюсь опос-
ля сна-то. Встал, подхожу к столу, гляжу — за окном светло, будто
днём, и баба, вся в белом, траву во дворе косить. Оно не видать толком,
что — мужик али баба, — но я откуда-то знаю, што баба это. Выбег я на
крыльце, кличу яё, а она как не слышить мене, косить себе дальше, по-
том, вижу, наклонилась, нашла што-то в траве и подымает... У мене дух
спёрло, с места двинуться не могу, а она оборотилась ко мне, лица не ви-
деть, и зайца за ухи держить. Он дрыгается, боком повернулся, а на спи-
не — горб... Проснулся я ни живой ни мёртвый. А ты говоришь — тебе
переживу...

Умер он через месяц нелепой, страшной смертью.

Я несколько раз бывал у него и помню ощущение какой-то прочности
в самом доме и во всём, что в нём находилось. Погреб был в сенях, в
самом дальнем углу. Прикрывался он огромной железной лядой. Летом
погреб всё время держали открытым, ляда стояла вертикально и упира-
лась в стену. Для того, чтобы она, не дай Бог, не захлопнулась, дед Ма-
кар приделал к стене крючок и закреплял её. Зачем-то полез он в погреб
и то ли зацепил ляду, то ли не выдержал крючок... Баба Зоя услышала
глухой стук, выбежала в сени — и увидела голову деда Макара. Он ещё
хрипел, его и без того большие глаза таращились на неё, язык вывалил-
ся изо рта. Когда прибежали люди, старик был уже мёртв. Три челове-
ка с трудом подняли крышку, и его обмякшее тело упало в погреб...

После этого меня долго ещё преследовал один и тот же сон: будто я
выхожу за деревню, иду мимо ставка на луг, в траве нахожу большую
железную ляду, открываю её и вижу внизу деда Макара. Он сидит на
скамейке, курит и держит в руках заячью голову. Потом поднимает на
меня глаза и говорит:

— Здорова, малец. В гости прибыл?..

[199?]



Дед Макар

111

•••

**Было написано под
впечатлением.
Самое интересное,
что я не помню, кого
же я тогда
начитался.**



**Из частного письма
(Влад — мне):
«Касательно слова
“шмурдяк”:
словечко это я
привёз из далёкого
города Харькова, у
художников спёр.
Синонимы
подобрать трудно;
один, наиболее
подходящий —
“говно”. Слово
“шмурдяк”
употребляется в
случае нехорошего
отношения к чему-
либо, или чего-либо
к вам; произносится
обычно с кривой
миной и в сочетании
со словом “такой”
(“такой шмурдяк!!!”).
Звучание этого слова
мне настолько
понравилось, что я
прочно закрепил его
в своём лексиконе.
Как мне кажется, оно
овхватывает
довольно
внушительную
часть моего
мировоззрения.
(Кстати (а может, и
нет), недавно я
услышал это слово в
одном из
кинофильмов
применительно к
вину. Так что я не
одинок!»
Лингвисты, ау!**

...Бессовестно далёкие мечты, которые без веры.
Бережно отворачиваю чистый лист нового дня.
Что за пятна? — всё заранее предопределено.
Пособие по пользованию туалетом не поможет вам какать культурнее...
Недопустимо врать с утра, хотя б до первой сигареты.
Завтрак из трёх блюд: табак, чай, зубная паста.
Сугубо мой язык.
Хлебнув чаю, медленно катаю на языке новопонравившееся слово —
ШМУРДЯК.
Целую жену.
Иду на работу.
В грязных штанах, и велосипед сломался.
Кладбище. Кладбище! Кладбище?
Отличная работа для лентяя.
Начальник зол.
Начальница — зола.
Я...
Кто-то позавчера слинял с работы (покинул кладбище живым).
Судорожно выцарапываюсь из ответственности.
Ухожу в одиночество.
Кладбище.
Верблюды идут на север.
Жара.
Спать.
Отличная работа для лентяя...
Никчёмный день — ни одного покойника.
Шмурдяк.
Заложив кегли рук за спину, идёт пионер — хмурый отросток времени.
(Ложь... Авторская выдумка. У нынешнего времени свои отростки.)
Пионер ушёл.
Я ушёл.
Домой.
Почему мы ссоримся?
Иногда. Прекрасно зная, что не можем друг без друга.
— Что сегодня на ужин?
Чисто риторический вопрос.
Не так и тяжело быть писателем — сиди и пиши.
Начтайся кого-нибудь и попробуй — получится у тебя так?
Получится. Ведь получается же.
Отличная работа для лентяя.
Моя жена говорит:
— А если я перестану быть умной, ты меня разлюбишь?
Глупость.
Моя жена часто говорит глупости и при этом не перестаёт быть умной.
Включаю телевизор.
Шмурдяк
Лишаю девственности вторую пачку сигарет «Ватра».
На прощанье сморкается солнце.
Смеркается.
Закрываю тетрадь.
Бессовестно далёкие мечты, которые без веры...

- Ж**
Суббота /
Воскресенье
- Ж**
Кирпич
и Церковь
Спасения
Святого
Духа
- Ж**
Путь в
виртуальность
- Ж**
Путь в
виртуальность 2
- Ж**
My Cat
Is Dead
- Олег Александрович
ЗВОНКОВ — «мужчина лет 30».
Родился и живёт в Харькове.
Публиковался в ©П (№2'2000).
Редактор интернет-журнала
«Опаньки!» (www.opankey.com).



Суббота / Воскресенье

Дж. И. А.

Почему это называют «баней», непонятно. Неужели нельзя назвать как-то попроще — ну, к примеру, «душ». Так и говорить: «Сегодня в субботу солдаты идут в душ». Без лишнего выпендрёжа. А то — «баня», «банный день суббота».

И сразу забегали розовые, потные, распаренные солдатики, где-то в клубящемся пару мелькая чем попало, а вот они уже в предбаннике, сидят в белом белье на выполненных крепкими армейскими задами деревянных лавках, чай пьют. А потом с песней, да строем, да по морозцу. «А для тебя, родная...» Зима, мороз, а ты из бани. Что Ташкент.

С песней, само собой. Как положено. Ну, а в остальном, увы, без излишеств. Какая парилка? Вода еле тёплая.

И чего вдруг вспомнилось?

С какой стати?

Ну да, Карабан притащил тогда трёхлитровую канистру спирта, мол, после бани. Откровенно слябзил где-то в гараже, а глазики невинные. Поздетски невинные татарские плоские как монетки-чёрные-метки глаза.

Это где-то к вечеру, уже перед отбоем, канистра появилась. Оранжевая, пластмассовая, для пищевых продуктов.

Неизвестно, для каких таких продуктов, но, однако не для спирта точно — мол, земеля, братишко с севера.

По всей видимости, так и есть, отвечает суховатый, малорослый Саша Кхекхеу корешу своему. Сибирскому, между прочим, татарину — короче, свой брат-Кучум. Виши, Карабан, спирт-та красный совсем, разъел пластик, испортил канистру. Та флягу на хрен надо. А как употреблять-та будем?

Употреблять, ясно, далеко после отбоя заперлись в каптерке. Человек, наверное, восемь: Карабан, Кхекхеу, Феликс-одессит, Черномаз, Джипсон... так, Жила, Юзельфарб и Чивилилиди — точно восемь.

Разлили по кружкам по четверти. Черномаз банковал, лил из канистры — тонкой струйкой, склонившись над посудой, сосредоточенно нахмурив брови. Да, как в аптеке. Жидкость сияет нежным цветом, ну что тебе красное вино победы-полбеды. Помялись-помялись, но еество своё берёт — выпили. Давай тушёнкой из банки закусывать. Тушёнки невпроворот, жир замёрзший, не лето. Загрызли кто чем.

На электрической плитке картошка жарится, вот-вот.

Говорил, подождём картофана, нет, наливай да наливай, говорил Жила, перекручивая картошку и шкрябая при этом ложкой по дну сковороды. Скоро уже, вот-вот. Вывалил тушёнку одну за другой две банки в сковородку к картошке, для сытости и вкусноты.

Закурили.

Ну, как. Да вроде живы. Однако. Да не. По кайфу.

Жила подцепил картохи на пробу, поводил тонким носом, а от картохи пар, а запах... Поморщил ус — тонкий, не по-солдатски подбритый сверху, ровненький над губой, а ля жиголо. Да не томи ты. Годится. И выставил сковородку в центр стола.

Черномаз обновил уже. И вперёд.

Да не... Ничё так винцо. Ага, забирает. Не потравимся? Не ссы. Не такое пили.

И хлеб прикупили в чайной, не из столовой.

По слухам возвращения Юзельфарба из госпиталя Чивилилиди завёл как бы издалека разговор о лекарствах там, о заболеваниях разных,

но постепенно, ближе к теме, всё-таки о бабах. О бабах, типа медсёстрах.

Какие медсёстры, Чиви, там не то что медсестёр, там бинтов нет, ни ваты, ни зелёнки нет.

Вах, слушай, там бинт нет, там вата нет, зелёнка нет, там медсестра должен быть. Зачем бинт, медсестра лечит.

Юзельфарб слабо попытался что-то про чьи-то гниющие ноги, но либидо победило, и все возжелали о бабах. А Феликс вспомнил, как нельзя кстати, что, мол, земляк его рассказывал, что, мол, что-то тот ремонтировал, то ли полы стелил у какого-то полковника — старого пердуна, а у того жена молодая, а самого дома нет, а жена, ну, крутится так и сяк, полковник же старый, а жена молодая, ну, я не знаю какая молодая, может, и не очень молодая, да по солдатским-то меркам чего там, короче, тот земляк так её хекал, и так, и вот так, и растак, а она визжит, аж стонет.

Все притихли. Заценили. А потом пошло. Кто-то какую-то повариху вспомнил, из чайной, что ли, кто-то ещё какую-то поблядушку.

Э-э, наливай, брат, наливай. Так, мужики, я пас. Да, ты чё, Джипсон? Чё такое? Не пошло? Да, нет, всё нормалды.

Джипсон худой, жилистый, как удав, уши растопыренные, нос сливкой висит.

Да, не в коня корм. Я жру-жру, а вон худой как шпала, а чё пью, чё не пью, чё радио слушаю. Да, я, мол, вообще не пьянею.

Как так? Не может быть. А кружку спирту слабо? Не хрен делать. Давай. Да, запросто.

Черномаз налил аккурат кружку, под самый-самый краешек, и чуть больше — с горкой. Джипсон для начала шапку снял, вывалил из-под неё волосы, чуб вьётся чуть не ниже вислого носа — затылок стрижёный, а что под шапкой, мол, всё мое. После уже взял кружку. Не хрен делать. И вытянул залпом всё.

Во бля. На — закуси, запей, занюхай.

Джипсон взял хлебушек, нюхнул, и картошечкой сверху замял. Не, мужики, понты всё это, говорю, не берёт. Вы хавайте, а я на шинельки тут заберусь. Покемарю, может. Ну, и залез на нары, на сложенные шинели, а одной укрылся.

Силён, брат. Да. Боец. Накатили тоже. И пошла масть: кто сколько пил и, особенно, на гражданке. А Джипсон лежит, помалкивает, только бляшечку пастой ГОИА чистит, натирает. Мол, солдатские дела.

Кто сколько пил — кто сколько пил, а свернули снова на баб. На этот раз кто ждёт-недождётся. Никто не дождётся. Это уж точно.

За окном зимняя ночь. А у нас зашибись.

Наливай. Да, наливай. Пьём.

Вот, мы с ней пёхались целыми днями. Просто сутки напролет. А с чего началось-то всё... Ну-ну? Зуб у неё разболелся, а мы недалеко возвле моего дома были, ну, зашли, я ей ватку спиртом намочил, чтоб на зуб большой положила, ну, держит, смотрю — глазки заблестели, повело так, окосела слегонца, думаю — ни хрена себе, от ватки какой-то. Ну, и приговорил её. А потом уже целыми днями. Любовь. Ага, сейчас любёться, наверное, со всеми подряд. Полюбилось ей это дело, понравилось. Да и правильно. Наливай.

По полста. Джипсон, давай по полста что ли. Эй, Джипсон.

Давай трясти.

А тот лежит, руки закинул, в одной бляха зажата, в другой кусок войлока. Слюну пустил краешком рта. Чуб на бок. Помер. Смотри, не дышит. Синий весь. Нос какой острый. Траванулся. Трындец. Чё делать?



**Суббота /
воскресенье**

115



Чё? Всем край.
И трясти — по щекам бить?
Карабан, ты чё за спирт приволок? А чё я? Чё, чё — Джипсон помер.
Вон pena изо рта. Траванулся. Точно.

Чё делать-то?
Всем край, точно. Дисбат. Вышка.
Не, ну... Возможно... Наверное... Может быть, надо куда спрятать?
Похоронить. Точно. А как ты его похоронишь, зима ведь? Мы ж моги-
лу не сможем даже выкопать. Вся земля ведь мёрзлая. Промёрзла.
Пошли на реку. Лёд раздолбим и похороним его как моряки, в воду. А
что делать?

Взяли Джипсона на руки, подняли аккуратно. Юзельфарб приот-
крыл дверь, выглянул. Давай. Дневальный на тумбочке спит. Понесли.
Мимо дневального. Вышли тихо. А на улице ветер. Холодно. Поплелись.
Первым заплакал, кажется, Кхекхеу. Пустил слезу. А там уже и все.
Идут, рыдают, несут братку Джипсона на реку хоронить.

Ветер холодный, жуть. Слёзы на щеках замерзают, ресницы замер-
зают. Хорошо хоть в бане помылся. Да. Всё как-то по-христиански. Ага.
Прошли через плац, а дальше по ступенькам вниз, к реке. Скользко. Хо-
лодно. Раз чуть не уронили. Спускаются. То ли тряска пошла от крутых
ступенек, то ли от холода, только Джипсон проснулся. Ветер гудит. Не-
бо чёрное — ни луны, ни звёздочки.

Э, чуваки. Чё такое? Спросонок ещё не понял, старый черт. Ожил.
Воскрес. Бляха. Братан. Да как же так. Ё-моё. Поставили на землю. Об-
нимать кинулись. Ты чё, оғигел, умирать вздумал. Ты думай ваще. Бра-
тан, блин, кореш.

И назад в казарму, в расположение. Веселее уже. Все живы-здоро-
вы, ведь это главное.

Суббота — банный день. Это уже вчера. А сегодня — Воскресенье.

[1998]

Кирпич и Церковь Спасения Святого Духа

н о в е л л а

В Доме Актёра в небольшом театральном зале по воскресеньям собиралась Церковь Спасения Святого Духа.

Сначала выступал кто-нибудь из топ-менеджеров или представителей руководства, все в строгих костюмах, в белых сорочках и ярко-сияющих галстуках, потом разные люди рассказывали разные случаи из своей жизни, в основном о том, как они пришли к Богу и всё такое.

После этого всем залом пели песни, брали друг друга за руки, раскачивались из стороны в сторону.

Кирпич тоже ходила в Дом Актёра по воскресеньям, посещала Церковь Спасения Святого Духа, она смотрела на выступающих, брала ладони стоящих рядом и раскачивалась. Она не слышала, что там говорили со сцены, она не слышала музыки и песен, она была глухонемая.

В Церкви ей нравилось. Хотя она ничего не слышала, она читала тексты нетолстые книги, которые ей давали, и ещё она читала по губам, не всегда, потому что часто люди тараторили или закидывали лицо к небу, но всё же более-менее понятно. Все улыбались друг другу, все очень благодушно относились друг к другу. Кругом была радость.

Церковь Спасения Святого Духа имеет внутреннюю структуру корпоративного типа. Она делится на департаменты, департаменты — на сектора, а те — на отделы. Главное Управление Церкви находится где-то в Америке. Департаменты отвечают за регионы (Восточная Европа, Западная Африка, например). Сектора — за страны. А отделы находятся непосредственно уже в городах. На каждом уровне менеджерский состав делится на три ранга. Когда человек приходит в Церковь, он не имеет никакого ранга, а потом, уже в процессе церковной работы, он постепенно продвигается по иерархической лестнице вверх. Не обязательно он переходит именно в руководство сектора или департамента, нет. Просто на каждом уровне существуют общины, и член Церкви, получая очередной ранг, может перейти в вышестоящую общину. Самая многочисленная община в Америке. Таким образом, любой член Церкви, пройдя через девять рангов, может уехать в Америку. Случается, что кто-нибудь из уехавших возвращается, но уже как американец и в роли миссионера. Хотя обычно на свою родину стараются не возвращаться, а выбирают миссию в других странах.

Кирпич посещала Церковь около двух месяцев, когда её заметил кто-то из топ-менеджеров. Ей дали сразу третий ранг и предложили работать с глухонемыми. Под неё сделали специальную программу: разработали бизнес-план, согласовали, утвердили, определили бюджет, выделили финансирование.

Кирпичом её прозвали в школе, вернее в школе-интернате. У неё были огненно-рыжие чуть вьющиеся волосы. Красные, почти как кирпич. Вот её Кирпичом и прозвали. А вообще, она была довольно симпатичная молодая женщина, только глухонемая. Она ничего не слышала и не могла говорить, даже если бы очень захотела, вместо слов она курлыкала как журавль.

После утверждения программы её снова повысили, ей дали пятый ранг. Пару недель с ней работали два миссионера: Стив и Джонатан. Они давали ей брошюры, и через пару дней она на листочке отвечала на вопросы, просто ставила крестики возле ответов. Они давали ей очередное задание. Они что-то говорили переводчику Сереже, тот писал для неё на бумаге. Ещё ей помогала тётя Тоня. В коридоре вдоль стены стоял ряд





**Кирпич и
Церковь
Спасения
Святого
Духа**

118

кресел, они оставались после занятий, вахтёры Дома Актера закрывали зал, а они садились в коридоре, и тётя Тоня что-то говорила, показывала важные места в книгах и, видимо, зачитывала их вслух. Несмотря на свои лет шестьдесят, она была очень подвижна и общительна. Она имела очень высокий ранг и была одним из лучших членов Церкви.

Потом Кирпичу выдали большую толстую библию в очень хороший кожаной обложке, чёрной с золотым крестом на лицевой стороне. Эта библия застёгивалась на молнию, как хорошая дорогая папка или большой солидный ежедневник, и имела строгий деловой вид. Она не помещалась ни в какую сумку, может, только в кейс, но кейса у Кирпича не было, и она носила библию под мышкой. Кирпич выглядела очень забавно: красная копна волос, довольно понощенное, купленное ещё в интернате пальто в крупную зелёную клетку и под мышкой огромная чёрная кожаная библия на молнии. Ещё в комплект входило два маркера (синий и оранжевый, у них был очень яркий цвет, и на каждом крупная надпись «BOSS») и два десятка пластиковых закладок. Всё это помещалось под той же обложкой: справа от библии, между книгой и молнией сверху и снизу были специальные кармашки, в них один над другим вкладывались маркеры, тут же были специальные петельки для закладок.

Ещё ей хотели выдать сотовый телефон, но потом сообразили, что он ей, в общем-то, и не нужен. Выдали пейджер, хотя функциональная ценность его тоже была сомнительна — ей сообщения посылали, но она ответить не могла.

У глухонемых есть два языка. Один — так сказать, национальный, т. е. если глухонемой англичанин, то это английский, если китаец — соответственно, китайский. На этом языке говорят буквами, и хоть знаки в разных языках похожи, но слова разные. Этим языком глухонемые пользуются редко, только если встречается какое-то незнакомое слово или термин. Второй язык более распространён. В нём каждый знак, подобно иероглифу, имеет определённое значение, их можно сочетать между собой, показывая последовательно или одновременно двумя руками. Например, если одной рукой показать знак КРЕСЛО, а другой ТОРШЕР, и знак КРЕСЛО поместить под ТОРШЕРОМ, то получится КРЕСЛО СТОИТ ПОД ТОРШЕРОМ. Таким образом, два знака, показанные одновременно, могут означать ситуацию, для описания которой говорящим потребовалось бы целое предложение, а то и несколько.

Этот второй язык практически одинаковый во всем мире. И глухонемые разных стран и национальностей могут общаться на этом языке, вполне понимая друг друга.

Или если, например, одной рукой показывать знак СВЯТОЙ, а другой последовательно ОТЕЦ, СЫН, ДУХ, при этом СВЯТОЙ удерживать неподвижно, получится СВЯТАЯ ТРОИЦА: СВЯТОЙ ОТЕЦ, СВЯТОЙ СЫН и СВЯТОЙ ДУХ, причём на этом языке абсолютно исчезает противоречие единства, на этом языке ОТЕЦ, СЫН и ДУХ СВЯТЫ и ЕДИНЫ естественно, без дополнительных доказательств и клерикальных словесных выкрутасов.

Рано утром Кирпич взяла под мышку выданную ей библию и поехала в интернат.

Интернат располагался в довольно живописном месте на окраине города. Кирпич ехала на метро, потом на автобусе до конечной. Встретили её не особенно чтоб радушно, но приходить разрешили, два раза в неделю.

Интернатовские дети жестоки. У них есть родители, семья, но в ближайшей школе они не нужны, учиться они могут только в интернате.

Они никогда не спорят, не ругаются, они сразу бьют. Им нечего доказывать, им ни к чему объясняться. Дерутся они жестоко.

В большинстве своём они вполне нормально умственно развиты, но образование у них безнадёжное, в лучшем случае в какой-нибудь специальный цех, на завод, будущее унылое, общение ограничено, поэтому они производят впечатление несколько туповатых.

Кирпич рассказывала им про радость, про общение с Богом, про историю Христа, Иуды, Петра, про многих умных и добрых людей. Она хотела поделиться сразу всем, что переполняло её. Учителя в интернате были говорящие и нормально слышащие, но они в основном не вмешивались, не обращали особого внимания.

Через два месяца она привезла в интернат гуманитарную помощь. Она предупредила заранее, и её встретили: директриса, завуч и главный повар в фартуке, она же завскладом. Они стояли на крыльце, когда церковный фургончик въехал в ворота и, сделав небольшой круг, остановился напротив них. Это был микроавтобус «Мерседес» светлого бежевого цвета, на боковой двери которого был изображён логотип Церкви Спасения Святого Духа: кровавое сердце, увитое чёрными лентами и небольшими белыми розами, и на нём перекрещённые кинжал и крест. Сверху рисунка были две большие английские буквы, а снизу — длинная надпись, тоже на английском. Кирпич сидела впереди рядом с шофером. Она вышла, открыла дверь с логотипом — внутри на полу стояли три коробки. Она их вытянула из салона поочерёдно и поставила на асфальт перед директрисой, завучем и главповаром-завскладом. Коробки были тяжёлые. Кирпич стояла и улыбалась. Директриса сделала ей навстречу пару маленьких шажков, присела и приоткрыла одну из коробок, там были какие-то брошюры. Она открыла вторую коробку — там были журналы и какие-то буклеты. Она открыла третью коробку — там было то же самое. Она встала, посмотрела в лицо Кирпичу и громко сказала:

— Ёбнутая.

Преподавательский состав в интернате в выражениях не стеснялся, всё равно их никто в округе не слышал.

Директриса резко развернулась и удалилась. Вслед за ней ушли завуч и главповар-завскладом.

Кирпич села на коробку. Обойдя фургон, подошёл шофер. Он протянул Кирпичу накладную, но она только развернула руками и показала вслед ушедшему интернатовскому руководству. Он попытался было что-то ей объяснить, но потом просто вернулся к фургону, достал из кабинки лист бумаги и библию Кирпича в чёрной кожаной обложке, вновь подошел к Кирпичу, положил лист на библию и что-то долго писал.

Кирпич сидела на коробке, локти на коленки, подбородок на кулаки, и смотрела на нарисованное сердце, ленты, розочки, кинжал и крест. Шофер протянул ей бумагу: «тому-то... от... служебная записка... прошу спisать... в количестве... ввиду... и т. д.». Она взяла её, подписала и отдала назад. Шофер сел в машину и уехал.

У неё действительно был забавный вид: красные развевающиеся на ходу волосы, нелепое старенькое пальто в крупную зелёную клетку и под мышкой огромная чёрная кожаная библия. Она шагала от автобусной остановки к метро. В кармане таращел пейджер, но она не обращала на него никакого внимания.

Кирпич вошла в метро. Стеклянные двери. Турникет. Эскалатор.

Она спускалась по эскалатору вниз. Навстречу ей поднимались угловатые люди. Она хотела им сказать. Она хотела поделиться. Выплеснуть всё, что внутри. Под мышкой была тяжёлая библия, она зажала её локтем и кричала. Кричала руками!



Кирпич и Церковь Спасения Святого Духа



Навстречу ей поднимались угрюмые люди.
Она кричала руками!
Длинная череда угрюмых людей.
Мужчины.
Женщины.
Просто люди.

Церковь Спасения Святого Духа была образована в 1887 году слиянием Христианской Церкви Спасения и Балтиморской Церкви Святого Духа. Центральный офис расположен в Балтиморе, штат Мэриленд. Более 200 филиалов только в США и Канаде.

Кирпич — Омелькина Татьяна Владимировна, 1967 г. р., учитель географии в Харьковской школе-интернате для детей с нарушением слуха и речи. Имеет сына, Мишу, 4 года. Миша нормально слышит и говорит.

Джонатан — Джонатан Дж. Робертс, миссионер Церкви Спасения Святого Духа. В 1993—1995 гг. выполнял миссию в Харьковском отделе. В 1995 году вернулся в Соединенные Штаты. В 1996 умер от рака желудка. Его сын Фрэнк в настоящее время — один из крупных руководителей Церкви Спасения Святого Духа.

Тётя Тома — Заднепровская Людмила Васильевна, 1932 г. р., в 1994 по системе Церкви Спасения Святого Духа уехала в Денисон, штат Техас. Живёт в небольшой квартирке на Крауфорд-стрит. Иногда выходит за покупками, но, не зная языка, выбирает что-нибудь, ориентируясь по иллюстрациям на упаковке — чаще всего то, что она уже когда-то пробовала. По воскресеньям выходит в Уотерлу-парк — пройтись возле небольшого озера, посидеть на скамейке у памятника Эйзенхаузеру или покормить белок.

[2000]

**Кирпич и
Церковь
Спасения
Святого
Духа**

120

Путь в виртуальность

СОБЫТИЯ И ПЕРЕЖИВАНИЯ

Когда-то в школьном учебнике был такой рисунок: история человечества представлена в виде прямой, на одном конце которой поднимающаяся с колен обезьяна с камнем в руке, на другом то, что принято называть современным человеком. Вдоль прямой щедро разбросаны каравеллы, ткацкие станки, паровозы, вооружённые люди, заводы — признаки прогресса, некие опорные точки истории. Взгляд на путь человека менялся время от времени: то это история царей, то история наций, история техники или история классов. Можно считать эти взгляды взаимоисключающими, а можно говорить о них как о дополняющих друг друга.

Историю человека можно представить и как соотношение событий и переживаний.

На самой, как говорится, заре человечества, в той самой начальной точке, где обезьяна поднимается с колен, берёт в руку камень и таким образом превращается в человека, события и переживания были равны друг другу. Т. е. в животном мире (и у дикого человека так же) происходят события, и они рождают переживания. Убил мамонта: событие — переживание. Убежал, если удалось, от какого-нибудь пещерного медведя: событие — переживание. Ну и т. д., можно много примеров вспомнить: и женщин, и еду...

Так вот, в определённый момент переживание отрывается от события и начинает жить собственной жизнью — этот момент можно считать рождением культуры. Сначала событие и переживание отдаляются друг от друга во времени, рождаются легенды. Когда легенды перерастают в мифы, событие теряется уже в некоем мифическом прошлом. То же с возникновением рисунка, когда появляется изображение, происходит отрыв переживания от события, от реального события, переживание закрепляется за символом события, который является овеществлением переживания, овеществлённым переживанием.

В принципе, культура — это и есть накопление переживаний, оторванных от событий, не имеющих опоры на события; накопление символов.

И если сопоставить жизни двух исторических представителей человечества — ту, припавшую на колено, обезьяну и современного нам индивида — на предмет наполненности событиями и переживаниями, то, понятное дело, у первобытного человека событий гораздо больше, только успевай от мамонтов и медведей уворачиваться, искать еды и другого чего хорошего, а у нашего современника может, и были в жизни события — так и то, типа, перейти улицу или съездить как-нибудь к подруге на дачу, зато по части переживаний он фору даст любому своему предшественнику (вспомним хотя бы о телевизоре).

Теперь мы несколько классифицируем наши размышления, обозначим интересные моменты:

- 1) сначала — событие и переживание равны, едины во времени и пространстве, переживание основано на событии;
- 2) потом — переживание относится от события во времени и пространстве;
- 3) следующий шаг — переживание отрывается от события окончательно и живёт своей жизнью;
- 4) и вот, наконец, — переживание порождает событие.

Последний пункт как будто бы невозможен, но вспомним о том, что





современные войны большей своей частью происходят в информационных средах (хотя бы на том же экране телевизора), или, например, сетьевые магазины, биржевая стоимость которых выше значительных промышленных групп в реальной экономике (хотя о ликвидной стоимости и говорить не приходится) — да порой и в современной реальной экономике брэнд стоит больше, чем вся производственная часть.

Последний пример, наверное, самый яркий: брэнд, торговая марка, реклама — это, по существу, концентрированное переживание, предстающее в той или другой материальной форме и порождающее совершенно реальные события (в экономике, политике и т. д.).

Было бы ошибкой думать, что события, вызванные переживаниями, продукт новейшего времени. Крестовые походы — вероятно, первые явления такого рода. Но сейчас механизм «переживание — причина события» не только нормален и повсеместен, он — основа современного мира.

Теперь вспомним о компьютерах.

СИМУЛЯТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

А точнее, о компьютерных играх.

Просто компьютерные игры — хороший и удобный пример.

Человек сидит за железным ящиком, давит педали, ворочает джойстиком. Где он? В какой действительности? То, что происходит с ним, реальность или воображение?

Игра в шахматы, к примеру, возможно когда-то была оторванным переживанием, возможно какой-нибудь древний индус, переставляя на доске шахматного слона, представлял себе походку слона реального (хотя в реальности слон ходит все-таки по-другому). Шашки же никакого события под собой не имеют, это игра уже более абстрагированная. Можно сказать, что шашки, как событие, рождают переживание. Но такие рассуждения ошибочны. Шашки (ну, вспомните эти пластмассовые кругленькие штучки) никаких переживаний не вызывают. Переживания рождает игра. А она здесь, сейчас и одновременно нигде: где-то в нереальности, в правилах, в традициях, в комбинациях, существующих века.

Компьютерная игра — это уже нечто другое. Здесь слоны ходят как слоны, драконы летают как драконы, а танки стреляют как танки, хотя и не больно. Здесь переживания вызывают события. Возможно, эти события ни для кого, кроме игрока, не значимы, но уж для него эти компьютерные события имеют такое же значение, как и военные действия по телевизору, и не известно ещё, что для него более реально.

Но все эти рассуждения не более чем финт ушами. Мы-то знаем, что всё происходящее в компьютерной игре — воображение. Или реальность? Ведь можно подойти, через плечо на монитор заглянуть. А если это сетевая игра? И играет несколько пассажиров, и переживания у них общие, и реальность у них общая, а общая — значит существует, как повелось ещё с римского права, достаточно двух свидетелей.

Что я всё о танках да о драконах? Ведь это не симуляторы.

Специально.

Уж если какая-никакая бродилка/стрелялка — реальность, то что говорить об истинных симуляторах! На них-то и на права сдаются, и на самолётах летать учатся. Хотя с правами я всё-таки загнул, с инструктором проехать-таки придётся. Но тем не менее обучение (пусть начальное) на симуляторе возможно.

Повторюсь, компьютерные игры — это только пример. Телевизион-



ные события — это тоже симулятивная реальность. Новости, литература, радио, газеты, кино, интернет. Никогда до конца не известно, где правда, где ложь. Различия между этими древними категориями размыты, границы стёрты. В симулятивной реальности правда и ложь в одном флаконе, и с лёгкостью, без особого напряжения, переходят одно в другое и наоборот в зависимости от представления, от точки зрения, от упаковки (рекламы, имиджа, брэнда).

Вообще, с развитием культуры, со всё большим накоплением обществом свободных переживаний (переживаний, оторванных от событий), реальность всё более симулятируется⁸. В принципе, это не должно пугать. Человечество всегда стремилось изменить действительность, изменить природу, среду существования. Человечество естественным образом стремится к симулятивной реальности.

Просто в очередной раз (как, например, после изобретения парового двигателя) человеку придется изучать, осваивать им же изменённую реальность.

ЦЕЛЬ

Вопросы типа: «зачем?», «почему?», «для чего?» — порою бессмысленны. Вернее, смысл-то в них есть, ответов на них нет. «Почему человечество стремится в виртуальность?» — остаётся таким же вопросом без ответа. Но цель эволюции, истории, прогресса (и как одного из последних достижений прогресса — симбиоза человека и машины) обозначить можно — освобождение от тела. Для этого человек прибегал к разным уловкам — миф, культура, религия. Возможно, теперь он нашел более действенное средство — новые технологии, компьютер, Сеть.

[2000]



Симулятируется.



Симулируется.

**Путь в
виртуальность**

123



Путь в виртуальность 2

Киберорудийная деятельность

Для начала определимся с терминологией.

Субъект деятельности — понятно, тот, кто работает.

Объект деятельности — предмет или среда, на которую деятельность направлена.

Продукт деятельности — то, что достигается в результате деятельности.

Орудие — то, с помощью чего деятельность производится.

Первый вариант деятельности — безорудийная.

Если руками ломать ветку какую-нибудь, если руками копать землю (ногами, головой — не важно) или завязывать шнурки — это и есть безорудийная деятельность. Субъект непосредственно воздействует на объект.

Как только субъект для того, чтобы копать землю, берёт в руки палку (а лучше всё-таки нормальную лопату взять), можно говорить об орудийной деятельности. Субъект воздействует на объект опосредованно, через орудие.

Здесь возникает интересный эффект, известный как «эффект пера». Т. е. когда человек водит пером по бумаге, его ощущения сконцентрированы не в пальцах, которыми он перо держит, а на конце пера. Он ощущает шероховатости бумаги, трение и пр. Если бы этого эффекта не было, человек не смог бы писать, он бы только и думал, куда какой палец ставить.

И так в любой орудийной деятельности. Ощущения переносятся на орудие, чистит ли субъект ножом картошку или копает лопатой землю.

Орудие является продолжением руки субъекта, орудие усиливает функциональные возможности руки, делает её более приспособленной для данного вида деятельности: тяжелее, чтоб вбить гвоздь, остreee, чтоб колбаски подрезать и т. д. Как мы уже говорили, орудие — посредник между субъектом и объектом деятельности, продолжение руки (хотя не только руки, а вообще любого органа деятельности — например, ласты усиливают функциональные возможности ноги, но только для плаванья, а чтоб по снегу кататься, лучше использовать лыжи).

Но вместо простой палки субъект может взять более сложное орудие — машину. Такое орудие назовём сверхорудием; а деятельность, следовательно — сверхорудийной.

Вот, к примеру, экскаватор, хорошее сверхорудие. Им гораздо эффективнее землю копать, нежели лопатой. Сверхорудие качественно повышает эффективность деятельности вообще, но не усиливает функциональные возможности рук и ног. Сверхорудие вообще напрямую не связано с органом деятельности. Т. е. если субъект ковырял пальцем в земле, потом взял лопату и делал те же самые движения, то, сев за рычаги экскаватора, он уже копательных движений не делает, а управляет машиной. Машина, в свою очередь, так же не обязательно копирует копательные действия человека, она может не только рыть землю, но и пилить её, и сверлить (человек же землю обычно не пилит и не сверлит).

А что же с «эффектом пера»?

Все хорошо, эффект на месте. Едешь на машине, шинами ощащаешь поверхность дороги и этому нисколько не удивляешься.

Надо ещё сказать, что субъект перед тем, как действовать, сначала в воображении строит план деятельности, а потом, в процессе деятельности, переносит его на действительность (это называется — экстраполяция).

Ну, а теперь гвоздь программы, обещанная киберорудийная деятельность.

Рассмотрим чего-нибудь попроще: субъект на компьютере делает макет для полиграфии.

Субъект есть.

Киберорудие на месте.

Среда деятельности — неизвестно что, какая-то симулятивная реальность, полуоображеная действительность (не бумага, а изображение бумаги, не карандаш, а изображение карандаша, не кнопки, а изображение кнопок).

Субъект в своем воображении строит план деятельности и экстраполирует его опять же в воображенную среду, но уже в некое коллективное воображенное — в симулятивную реальность.

Объект деятельности — симулятивный, полуображаемый-полуреальный.

Продукт деятельности... тоже не вполне реален, вот вроде бы он есть, и денег стоит, а бухгалтерия не знает, что с ним делать, по какому счёту его на баланс принять и как потом списывать.

Но, что интересно, в симулятивной реальности «эффект пера» очень даже существует. Ощущения совершенно спокойно переносятся на симулятивное орудие (бывает, забывшись, пытаешься курсором нос почесать). Ну, а если вдуматься: появляется ощущение несуществующих кнопок (фантомные такие ощущения).

Усиливает ли киберорудие функциональные возможности органов деятельности? С одной стороны, киберорудие создаёт субъекту симулятивную реальность и симулятивное орудие (изображение карандаша, допустим) — в данном случае симулятивное орудие является продолжением руки субъекта. Но продолжением куда? С другой стороны, киберорудие действует в такой среде, в которой субъект никакими другими способами действовать не может. По существу, киберорудийная деятельность эмулирует в симулятивной реальности простую орудийную деятельность только для того, чтобы субъекту было более-менее привычно работать. Но продукт деятельности качественно иной. Это то самое переживание, в основе которого нет и не было события, но которое само рождает событие.

[2000]



**Путь в
виртуальность**
2

125



My Cat Is Dead



Помер
котёночек мой /
малюсенький /
чёрно-белый
котёночек /
по имени Блэки /
Помер котёночек
мой / миленький
котёночек /
маленький
котёночек /
Помер мой
котёночек /
Кинуть бы камнем
в башку / той, что
его убила /
Помер котёночек
мой / дура-
соседка /
ОНА ПРИШИБЛА
МОЕГО КОТЁНОЧКА.



Не, не так:
Моя подохла
кошечка /
маленькая
чёрненская /
беленькая
кошечка / а звали
её Чёрненская /
Кошечка подохла /
сладенькая
кыцанька /
маленькая
кыцанька /
Моя подохла
кошечка / А мне
наверно стоило /
звесить камнем в
голову / той кто её
убил / соседка
сволочь дура /
УБИЛА
МОЮ КО

Вчера дочка попросила найти чего-нить детского в инете (не порнографии, само собой).

Поковырялся я, значит, в Сети и вот что я скажу:

Убого! Убого и прискорбно констатировать, что ни...чего путного и не нашёл (пару-другую сайтов — и смотреть стыдно, и другим показать).

Мабуть, они и есть, сайты те, но почему-то их трудно найти. Весь рунет надо перетрясти, чтоб какого-нибудь завалявшего мурзилку отыскать.

Пошёл к буржуям.

Ну, тут, панимаешь, другое дело, всего навалом. А всё на них гонят патриоты, что, меркантильные они и всё такое (не хочется матюгов употреблять, всё-таки детская тема).

Короче, нашёл я стишок один на сайте KidLit WebSite, не терпится поделиться, вот он:

My Cat is Dead
*Matthew Deluna,
Grade 7
Pat Neff Middle School
San Antonio, TX*

My cat is dead
my little black
and white cat
named Blacky
My cat is dead
sweet kitty
little kitty
My cat is dead
I should have
thrown a rock at his killer's head
My cat is dead
stupid neighbor
SHE KILLED MY CAT. 

Teacher: Lynnette Perez

Ну, не зашибись ли?

[2000]

**Информационный
партнёр**

ХАРЬКОВ **Что где когда**

<http://www.inform.kharkov.ua>

Содержание

003  004
Сергей Черняев
Фидий в Парфеноне

005  018
Юрий Цаплин
Мы едем на море
Всех нас ждут забытые могилки
Как я привёл девушек
«сегодня видел...»

019  024
Борис Ткачёв
Гамлет, принц датский
Китайское
S. T. («Незакрытая дверца шкафа...»)
«Аве, Проза...»
«Здесь в Москве...»

025  036
Денис Хер-рувим
Площадка молодняка

037  046
Владимир Купянский
Как я пишу верлибры
Один из примеров происхождения иероглифов
Последний annus тысячелетия
Буколика позднейшего эллинизма
Конспект карты
Пенис в письме Соломоновом
Ане Рапопорт («Теперь полужизнь...»)
О снах и о Марке Шагале
Per aspera ad astra

047  076
Лидия Яновская
Неэвклидова геометрия по Михаилу Булгакову

077  078
Тамаз Ерёмин-Гоголадзе
Воронеж

079  082
Любовь Турбина
«О путник, света прозревающий...»
«Тысячелетнее лето почти отшло...»
Богема

Содержание

083  086

Александр Михилёв

Жан Дютур: дух нонконформизма и насмешливости

Жан Дютур

Собачья голова

087  108

Бирма

Песнь юродивого

«Эх, фешенебель, фешенебель...»

«О, сколько нам открытий чу...»

Умиротворение

Натурщица

Мель

109  112

Владислав Коптилов

Дед Макар

«Бессовестно далёкие мечты...»

113  126

Олег Звонков

Суббота / Воскресенье

Кирпич и Церковь Спасения Святого Духа

Путь в виртуальность

Путь в виртуальность 2

My Cat Is Dead



В оформлении номера использована

графическая вещица Романа Фольбуха

«Швейк»

61072 Украина, Харьков, Тобольская 42, эт. 6, к. 29, т. 8-0572-285-362

kbelyaev@yandex.ru, tsaplinyu@yahoo.com

издательская лицензия

№065238 от 23/VI 1997

подписано в печать

12/VI 2001

формат

60x84 1/8

отпечатано

на ризографе

объём

15 усл. печ. л.

тираж

200 экз.

Харьков • ©П

Тверь • Колонна

**На всякий случай –
содержание предыдущих номеров:**

№1(1)'00 №2(2)'00

инт р о	КОНЬ-ТЕКСТ
+ комментарии	в р е д а к ц и о н н о е б р е д и с л о в i е
Константин Беляев ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, АРДЕЛЯР КЕЙС! нечто о «кондуите и швамбрании»	Нина Виноградова ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПАРИЖ стихи
Сергей Огиенко РАССКАЗЦЫ ЕСЛИ ВОРЫ ЧЕСТНО (самобичевательское) проза	Олег Звонков МОПАССАН И ВОДИТЕЛЬ ВОЛГА п р о з а
Вадим Волков ПРОДОЛЖЕНЬЕ ТЕМНОТЫ стихи	Константин Беляев «ПОМИНКИ ПО ФИННЕГАНУ»: АПОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА «п о м и н к и п о ф и н н е г а н у»: а п о л о г и я п е р е в о д а
Владимир Яськов МАРФА (спонтанное словотворчество: каталог вопросов) психологическая филология ВСЁ ЕЩЁ СБУДЕТСЯ стихи	Сергей Кирошка ДОЖДАТЬСЯ НА МОСТУ е щ ё проза
Юрий Цаплин ЗАВТРАК ПРОШЛОГО ГОДА рассказ	Владимир Яськов СТРАСТИ ПО ВАСИЛИЮ ф и л о л о г и ч е с к а я этнография
Юрий Цаплин Сотоварищи МОЖНО ВООБРАЗИТЬ... (история одной гипотезы) трёп	Станислав Минаков МОЯ НОГА д а н с - м а к а б р
Владимир Стариков НА УЛИЦЕ ОРАНЖЕЙНОЙ стихи	Сергей Огиенко НЕДОДЮЖИНА м а л е н к о е
Андрей Краснящих ЛАБИРИНТ рассказ	Александр Михалюк ПОДПИСЬ ПОД ФОТОГРАФИЯМИ, ИЗОБРАЖАЮЩИМИ ЗАСТОЛЬЕ стихи по случаю
«ПРИЗРАКИ» ТУРГЕНЕВА, «ПРИЗРАКИ» ФАРРЕРА И ТИПОЛОГИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАРКОГАЛЛЮЦИНАЦИЙ наркогаллюцинация	Всеволод Кузнецов ФЭНТЕЗИ: АНАТОМИЯ ЖАНРА л и т е р а т у р о в е д ч.
	Андрей Краснящих КАРУСЕЛЬ проза
	Роман Фольбух ЗЛАТОКРЫЛАЯ КРЫЛАТКА разное

п о с т м о д е р н **п о д с м о т р е н**

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ

Александр Васильевич (род. 1949) —
российский киноактёр. Настоящая
фамилия — Гусёв. Мать будущего киноактёра,
отбывая ссылку на Алтае в конце 1920-х гг. как
белоказачка, поменяла фамилию детей на
Панкратовы: так звали её бывшего мужа,
ничем не запятнанного перед
советской властью.

Учась во ВГИКе, Панкратов получает
прозвище Чёрный, чтобы отличаться
от однокурсника, своего полного тёзки,
которого, в свою очередь, прозвали Белым.

[ГИПЕРСМЫСЛ | АНТИСМЫСЛ](#)

[АНТИСМЫСЛ | ГИПЕРСМЫСЛ](#)

«Частная вечеринка» «Где находится нофелет?»

«За прекрасных дам» «Система ниппель»

«Аферы, музыка, любовь» «Кикс»

«Ребёнок к ноябрю» «Ширли-мырли»

«Перед рассветом» «Трам-тарарам, или

Бухты-барахты»

«Бабник»

«Альфонс»

«Импотент»

«Я сама»

«Я тебя ненавижу»